

18+
ДМИТРИЙ СТИЛЛАВИН

После нашей эры

КНИГА 1: СЕВЕРНОЕ КОРОЛЕВСТВО



Дмитрий Стиллавин

После нашей эры. Книга 1: Северное королевство

<https://litres.ru/74285748>

ISBN 9785007066839

Аннотация

Мрачное постапокалиптическое средневековье. Некогда великая цивилизация погибла, технологии забыты. Миром правит жестокий Порядок — набор законов, главный из которых: в каждом поселении, будь то деревня или город, не может быть больше определённого «лимита душ». «Лишних» забирают рыцари-псы, а чаще убивают. Над церковью и королями стоят таинственные долгожители — зверолюди, которые управляют численностью населения и скрывают правду о происхождении мира

Содержание

АННОТАЦИЯ	6
ГЛАВА 1: ЖРЕБИЙ РЕГРАДА	7
ГЛАВА 2: «ПЁС»	21
ЧАСТЬ 1: ДОРОГА	21
ЧАСТЬ 2: СВЯТОЙ БАСТИОН	27
ЧАСТЬ 3: «ПСАРНЯ»	30
ЧАСТЬ 4: «ЩЕНКИ»	33
ЧАСТЬ 5: ВЫБОР	35
ЧАСТЬ 6: ПРИЗЫВ	37
ЧАСТЬ 7: ОБУЧЕНИЕ	39
ЧАСТЬ 8: ПЕРВЫЙ МЕЧ	41
ЧАСТЬ 9: ПЕРВАЯ КРОВЬ	44
ЧАСТЬ 10: СТАНОВЛЕНИЕ	48
ЧАСТЬ 11: БОЛЬШОЕ ДЕЛО	51
ЧАСТЬ 12: КАЗНЬ	54
ЧАСТЬ 13: ТЕНЬ	65
ГЛАВА 3: ДВЕ ДОРОГИ К ИСТИНЕ	68
ЧАСТЬ 1: КАЭЛ. ТИШИНА МЕЖДУ СТРОК	68
ЧАСТЬ 2: БЕРЕНГАР. БУНКЕР	77
Конец ознакомительного фрагмента.	89

После нашей эры Книга 1: Северное королевство

Дмитрий Стиллавин

© Дмитрий Стиллавин, 2026

ISBN 978-5-0070-6683-9 (т. 1)

ISBN 978-5-0070-6684-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ

КНИГА ПЕРВАЯ: СЕВЕРНОЕ КОРОЛЕВСТВО

2026г

© Стиллавин Дмитрий

Все права защищены. Никакая часть этой книги в любом виде (электронном, печатном, аудио и т.д.) не может быть воспроизведена, распространена, переведена на другие языки или использована в какой-либо форме без письменного разрешения автора, за исключением коротких цитат в рецензиях и обзорах.

Эта книга является результатом творческого сотрудничества автора и систем искусственного интеллекта. Искусственный интеллект использован как вспомогательный инструмент для генерации идей, редактирования и создания изобразительного ряда.

Все персонажи, события, названия организаций и географические названия в этой книге являются вымышленными. Любое совпадение с реальными людьми, живыми или умершими, историческими событиями или существующими организациями случайно.

Возрастная маркировка: 18+ (согласно Федеральному закону №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). Книга содержит сцены насилия, жестокости и описания, не рекомендованные для лиц младше 18 лет.

АННОТАЦИЯ

Мрачное постапокалиптическое средневековье. Некогда великая цивилизация погибла, технологии забыты. Миром правит жестокий Порядок — набор законов, главный из которых: в каждом поселении, будь то деревня или город, не может быть больше определённого «лимита душ». «Лишних» забирают рыцари-псы, а чаще убивают. Над церковью и королями стоят таинственные долгожители — зверолоуды, которые управляют численностью населения и скрывают правду о происхождении мира

ГЛАВА 1: ЖРЕБИЙ РЕГРАДА

Их разделили в туманное утро, когда один поехал в железной клетке за горизонт, а другой остался в люльке под закопчённым потолком. С тех пор каждый ищет другого, даже не зная, что ищет. Просто спотыкается на ровном месте, когда брату больно, и дышит глубже, когда тому легче.

Деревня Реград лежала на самом краю Лунной Пустоши, точно заноза под ногтем умирающего мира. Здесь, где дороги из рваного, никем не тёсаного камня уползали в молочный туман и никогда не возвращались обратно, само время текло иначе — вязко, тяжело, как смола по коре сосны. Жители не знали, кто возвёл их стены из странного серого бетона, покрытого сетью трещин, похожих на старческие морщины древних богов, забывших этот край. Они не умели читать — грамота была уделом старейшин да церковных писцов с их тощими, пахнущими кожей книгами, — но свято верили в одно: мир умирает. И чтобы не умереть вместе с ним раньше срока, нужно строго-настрого соблюдать Порядок.

Порядок был жесток, но прост: в каждой деревне не может обитать больше трёх сотен душ. Если число превышает заветный предел — грядёт жертва. Жребий, брошенный дрожащей рукой, сам выбирает лишних, а потом из тумана является адская колесница и увозит обречённых в Бастион, где

они, как шепчутся по углам, будут служить самому королю.

Никто, ни один человек, никогда оттуда не возвращался.

В тот день, когда у деревенского гончара Гедриха родилась двойня, старая повитуха Мара — та, что приняла на свет не одно поколение реградцев, — вышла из дома с лицом белым, как рубаха покойника.

— Два мальчика, — одними губами прошептала она соседке, торопливо крестившейся у плетня. — Здоровые. Горластые. Оба — как пиявки, вцепились в жизнь.

Соседка перекрестилась древним знаком — полумесяц, перечёркнутый молнией, — хотя никто уже не помнил, что он означал на самом деле.

Слух разлетелся быстрее осеннего ветра, гонящего сухие листья по выжженной земле. Уже к вечеру в дом гончара, пропахший глиной и кислым молоком, явились писцы. Двое в чёрных балахонах, от которых пахло затхлым подвалом и чернилами — запахом власти. Они не поздоровались, не предложили помощи, даже не сняли капюшонов, хотя на улице стояла духота. Просто раскрыли свои тонкие книги, где именами были исчерчены страницы до полупрозрачности, и спросили, не поднимая глаз:

— Имена?

— Беренгар и Каэл, — ответил Гедрих, глядя в пол. В его голосе не было злости — только усталость человека, который знает, что спорить с церковью бесполезно, как бесполезно просить дождь не мочить землю.

— Лишние, — отрезал старший писец. Его перо уже скрипело по пергаменту. — Жребий — через седмицу.

Ильма, жена Гедриха, измождённая родами до синевы под глазами, всхлипнула — тонко, по-звериному, и тут же зажала рот ладонью, поняв, что лишний звук может стоить жизни. Её муж сжал кулаки так, что ногти впились в мозолистую плоть. Но спорить со служителями — всё равно что подписать смертный приговор всей семье. В Реграде помнили такие случаи.

Писцы ушли так же молча, как и пришли, растворившись в сумерках. А по деревне поползли слухи, тяжёлые, как свинцовые тучи, набухшие грозой.

— Двойня — всегда знак, — судачили женщины у колодца, набирая воду в рассохшиеся вёдра. — Только не поймёшь: к худу аль к добру?

— Помнишь, три года назад в соседней деревне тоже родились двое? — шептала толстая Герта, раздувая ноздри. — Увезли обоих. Прямо из люлек вынули. А мать следом удавилась на чердаке.

— Молчи, — осадили её соседки, оглядываясь на тёмные окна домов, где могли сидеть доносчики. — Ещё услышат. Тогда и мы за компанию в колесницу сядем.

Через семь дней, на рассвете, колокол на площади загудел трижды. Низкий, надрывный звук пополз над мокрыми от росы крышами, заставляя птиц срываться с ветвей и улетать прочь, к лесу, который никто не решался называть по имени.

Люди бросали работу — кто месил тесто, кто чинил плуг, кто доил козу — и молча стекались к центру.

Собирались быстро, с той пугающей слаженностью, какая бывает только у стада перед бурей. Старики, дети, женщины с потухшими глазами, мужчины, сжимавшие в руках заступы и молоты — не для битвы, а для тяжести, чтобы не упасть. Все шли на площадь, туда, где возвышался деревянный помост, почерневший от времени и дождей, а на нём — закрытый ящик с узкой прорезью: Жребий.

Совет старейшин уже занял свои места. Они сидели на скамьях с резными спинками — единственном украшении во всей деревне, если не считать ржавого колокола. Шестеро древних, как эти камни, мужчин в грубых, протёртых на локтях плащах, с глазами, привыкшими смотреть в землю. Рядом с ними — писец от церкви, молодой ещё, с острым, точно мышиная морда, носом и быстрыми, бегающими глазами. Он раскрыл книгу, обмакнул перо в чернильницу, притороченную к поясу.

— Именной список! — провозгласил верховный старейшина, хромой Матфей, стукнув посохом о доски помоста.

Писец начал читать. Каждое имя отзывалось в толпе тихим выдохом, будто люди выдыхали душу. Дойдя до конца, он сделал паузу — красивую, театральную, — обвёл взглядом площадь.

— В Реграде триста два жителя. Превышение — двое. По закону Порядка, сегодня мы вынем из урны два жребия.

В урне — грубо сколоченном ящике из некрашеного дуба — лежали деревянные бирки. На каждой было вырезано имя. Тех, кто не был старейшиной, не носил церковного сана, не имел особой королевской грамоты. То есть — почти всех. Мужчин, женщин, детей, грудных младенцев — у всех, кроме самых избранных, было одинаковое право умереть.

— Жребий справедлив, — продолжал Матфей, и голос его дребезжал, как старое жестяное ведро. — Сам Бог укажет перстом, кому уйти. Не ропщите.

Толпа молчала. Кто-то судорожно крестился тем самым забытым знаком. Кто-то сжимал руки детей так, что те начинали плакать, и тогда матери затыкали им рты ладонями, шепча: «Тише, тише, услышат».

Первым тянуть вызвали кузнеца Грома — здоровенный детина с обожжённым лицом, где здоровая кожа мешалась с розовыми рубцами, похожими на карту неведомой страны. Он не боялся ничего, кроме церкви. Сунул руку в прорезь — широкую ладонь, всю в мозолях и старых ожогах, — нащупал бирку, вытащил.

Писец взял деревяшку, поднёс к глазам.

— Мейнард, сын Торбьёрна, — прочитал он скрипучим голосом.

Из толпы донёсся сдавленный, похожий на хрип крик. Мейнард был старым пастухом, которого в деревне никто не замечал — как придорожный камень или старый пенёк. Он пас коз на северном склоне, никого не трогал, никому не

перечил. Он сам шагнул вперёд, и все увидели его лицо — серое, землистое, как у мертвеца, но спокойное. То спокойствие, какое бывает у человека, который давно ждал конца и наконец дождался.

— Значит, так тому и быть, — сказал Мейнард. Голос его не дрогнул. — Не век же коз пасти.

Он встал справа от помоста, туда, где место для меченых — пустое пространство, которое никто не решался занимать.

Вторым потянула женщина — вдова с тремя дочерьми, худая, как щепка, с руками, стёртыми в кровь о прялку. Она подошла к урне, не глядя ни на кого. Глаза её были сухими, красными, — она выплакала все слёзы ещё ночью. Рука у неё тряслась, и бирка выпала, ударилась о край прорези, звякнула.

Писец поднял её, даже не обтерев от пыли.

— Беренгар, сын Гедриха, — огласил он.

Тишина стала вязкой, как дёготь летом. Её можно было резать ножом. Можно было пробовать на вкус — горечь и смола.

Гедрих сделал шаг вперёд, и толпа расступилась перед ним, точно перед зачумлённым. Из-за его спины выглянула Ильма — бледная, с чёрными кругами под глазами, с искусанными в кровь губами. В руках она держала свёрток из овчины, в котором тихо посапывал один из близнецов — розовый кулачок торчал наружу. Другой остался дома, в люльке, подвешенной к потолку — старый обычай, чтобы злые духи

не добрались до ребёнка.

— Здесь ошибка, — сказал Гедрих. Голос его осип, словно он глотал битое стекло. — Беренгару нет и недели. Он даже глаз не открыл. Он не может идти. Он... он человеком ещё не стал.

— Жребий не ошибается, — отрезал Матфей, и губы его, тонкие, как лезвие бритвы, сжались в нитку.

В этот момент из толпы, шаркая лаптями и опираясь на корявую клюку, выступила старуха Мара. Вся сгорбленная, в выцветшем платке, из-под которого торчали седые, как пепел, космы. Она смотрела прямо — не на старейшин, не на писца — на колеблющуюся массу людей.

— Троих берёте? — спросила Мара, и голос её прозвенел, как удар по стеклу. — Или не заметили, что двойня — это два имени? Урна знает каждого. В ней лежит и Каэл. Тяните ещё раз. По закону.

Писец замер. Перо застыло в воздухе, уронив каплю чернил на белый пергамент — чёрное пятно, похожее на сгусток тьмы. Взглянул на старейшин. Старейшины переглянулись — быстрым, испуганным взглядом загнанных зверей.

Младший из них, кого звали Герт — ещё не старый, с живыми глазами, но уже с гнильцой в душе, — резко встал, опрокинув скамью.

— Мара, замолчи! — крикнул он, и лицо его налилось кровью. — Ты не имеешь права голоса. Ты — баба, да ещё и нищая. Кто тебя слушать будет?

— Я имею право говорить правду, — не сдавалась старуха. Она шагнула вперёд, и клюка её гулко стукнула о землю. — Два лишних рта — два жребия. А вы взяли одного пастуха, который уже одной ногой в могиле, и одного младенца. Это не Порядок. Это трусость. Страх перед тем, что забрать придётся обоих детей.

Толпа загудела. Этот гул — опасный, нарастающий, как шум воды перед прорывом плотины. Кто-то зашептался, кто-то шагнул назад, кто-то, наоборот, вперёд — озираясь по сторонам. Гедрих стоял не двигаясь, огромный, как утёс, а Ильма вдруг заплакала навзрыд, не стесняясь больше, не зажимая рта — громко, страшно, так, что младенец в свёртке тоже заплакал, тонко и надрывно.

И тогда случилось то, чего никто, даже старая Мара, не ждала.

Из-за холма, со стороны тракта, ведущего к Святому Бастиону, донёсся сначала далёкий стук копыт — drobный, как град по железной крыше. Потом — скрип колёс. Мерный, тяжёлый, похожий на стон раненого зверя. Потом — лязг цепи. Мерзкий, режущий звук, от которого сводило скулы и хотелось зажать уши.

Колесница.

Она выползла из утреннего тумана, как сомнамбула из кошмарного сна. Чёрная, обитая ржавым железом, с огромными колёсами, перепачканными в грязи. В неё была вделана клетка из прутьев, таких толстых, что в них с трудом мож-

но было просунуть кулак. Между прутьями налипла солома — и ещё кое-что, тёмное, чего не хотелось разглядывать. Извозчик сидел на козлах — безликая фигура в мешковатом балахоне, лица не разглядеть, только руки в грубых рукавицах, держащие вожжи. А рядом, чуть поодаль, ехал всадник на огромном вороном коне — коне с горячими ноздрями, выпускающими струйки пара на холодный воздух.

Рыцарь Бастиона.

Латный доспех его не блестел — он был матовым, словно впитал в себя всю тьму этого мира, всю боль и смерть, что копились веками. Шлем скрывал лицо — только узкая прорезь для глаз, и там, в глубине, мерцало что-то живое — или не живое? На плече — плащ из грубой серой шерсти, без гербов, без знаков отличия. Только меч у седла.

Рыцарь не сказал ни слова. Остановил коня в трёх шагах от помоста, и конь замер как вкопанный, даже уши не повёл. Извозчик спрыгнул на землю — тяжело, грузно, — прошлёпал по грязи к клетке и открыл дверцу. Та жалобно скрипнула.

Старейшины побледнели до синевы. Даже их древняя власть казалась жалкой перед этой чёрной тенью. Первым опомнился Матфей — он шагнул вперёд, опираясь на посох, и голос его дрожал:

— Мы ещё не закончили жеребьёвку, господин. Нам нужно время... всего немного времени...

Рыцарь медленно повернул голову в шлеме. Послышался

тихий скрежет металла о металл. Из прорези блеснул глаз — или показалось? — и Матфей захлебнулся словами, рот его открывался и закрывался, как у выброшенной на берег рыбы.

Тогда из толпы, шатаясь, как осиновый лист на ветру, вышел Мейнард. Старый пастух. Он сам подошёл к клетке, ни на кого не глядя. Не плакал, не молил, не проклинал. Просто перекрестился древним знаком — полумесяц, молния — и полез внутрь, ссутулившись ещё сильнее, чтобы втиснуться в тесный железный ящик, пахнущий смертью и мочой.

Вторым должен был стать Беренгар.

Гедрих заслонил Ильму спиной — широкой, сутулой спиной гончара, привыкшей гнуться над кругом. Его руки — в мозолях, в засохшей глине, в глубоких трещинах, где чернела земля, — тряслись мелкой дрожью. Он не был воином. Он был гончаром. Лепил горшки да миски. Но он обернулся к толпе — к этим людям, с которыми ел хлеб и пил воду, — и крикнул хрипло:

— За что? Вы слышите? За что мой сын? Чем он провинился? Он даже не грешил ещё!

И тогда из дома, оставленного без присмотра, раздался детский плач. Другой близнец, тот, что остался в люльке, — Каэл — зашёлся тоненьким, отчаянным криком, будто звал кого-то, будто понимал всё. Плач его плыл над площадью, пронзительный, как сигнал бедствия.

Старуха Мара шагнула вперёд, протянула иссохшую, про-

зрачную руку к рыцарю — руку, похожую на птичью лапу.

— Забери меня, — сказала она, и голос её не дрожал. — Я стара. Я своё пожила. Всё, что могла, — отдала. А младенца оставь. Он ещё и не жил вовсе. Пусть хоть попробует.

Рыцарь не ответил. Даже не повернул головы. Извозчик — безликая тень — взял Гедриха за плечо. Сила была нечеловеческой: гончар покачнулся, попытался вырваться, но пальцы в рукавицах сжались как стальные скобы, отстранив его, как куклу. Гедрих упал на колени в грязь. Извозчик перешагнул через него и бережно, как драгоценность, забрал одного из младенцев. Того самого, первого — Беренгара. Мальчик ещё не открыл глаз, но уже кричал, сжимая крохотные кулачки, его личико побагровело от натуги.

Ильма рухнула на колени, протянув руки к извозчику, но тот даже не взглянул. Гедрих бросился было — но двое мужчин из толпы, те, что боялись больше рыцаря, чем стыда, перехватили его. Схватили за локти, за плечи, прижали к земле. Свой же. Соседи.

Беренгара положили в клетку рядом с Мейнардом. Старый пастух молча принял свёрток — осторожно, словно учился этому всю жизнь, — и прижал к груди, начал тихонько укачивать. Напев у него был без слов — древний, как этот мир.

Писец в своей книге дрожащей рукой — чернила расплывались — вывел напротив имени «Беренгар»: Уведён. Жребий исполнен.

— А второй младенец? — спросил кто-то из толпы голо-
сом, полным ужаса и — нет, не надежды — любопытства.

Но рыцарь уже развернул коня. Колесница скрипнула, тронулась с места, оставляя в грязи глубокие колеи. Извозчик хлестнул лошадь — тощую, седую кобылу — и та рванула, вздымая комья земли. Чёрная повозка, увозящая младенца и старика, медленно, неумолимо втянулась в туман, откуда пришла.

В суете, когда извозчик открывал клетку, старейшина Герт, потрясённый появлением рыцаря, выронил кожаную суму с оставшимися бирками. Одна из них выскользнула и упала в грязь.

Мара, провожавшая глазами исчезающую колесницу, нагнулась — спина хрустнула — и подняла её.

На бирке было вырезано имя: Каэл.

Она стояла так, сжимая деревяшку в кулаке, и смотрела на дорогу, где исчезла колесница. В голове её звучал тот же вопрос, что и у всех: что будет с мальчиком, который остался? Но она знала: если эта бирка попадёт в руки писцов, Каэла увезут следующим. И тогда в Реграде не останется ни одного из близнецов.

Мара сунула деревяшку за пазуху, поближе к сердцу. Ни слова не сказала. Просто скрылась в толпе, растворилась среди спин и плеч, как тень, которую никто не заметил.

Толпа уже расходилась — быстро, жадно, радуясь, что не их сегодня выбрали. Люди отводили глаза от дома гончара,

прятали взгляды, будто боялись, что их собственная вина проступит на лицах, как пот.

А в доме, в опустевшей люльке, подвешенной к закопчённому потолку, лежал второй мальчик. Он больше не плакал. Он смотрел в потолок своими мутными, ещё не научившимися фокусироваться младенческими глазами — и, казалось, слушал удаляющийся стук копыт, затихающий за холмом.

Где-то в груди, в том месте, где у взрослых болит сердце, у него вдруг заныло. Он не знал, что это такое. Он был слишком мал, чтобы понимать. Но он чувствовал — что-то важное ушло. Что-то, что было частью его. И он заплакал — не от голода, не от холода. От потери, которую не мог назвать...

Гедрих не помнил, как добрался до дома. Он сидел на пороге, глядя на опустевшую люльку, и сжимал в руке глиняную чашку, которую когда-то вылепил для сына. Чашка была пуста. Как и дом. Как и его сердце. Рядом, на полу, сидела Ильма и смотрела в стену. Она не плакала. Слёзы кончились. Только тихо, беззвучно качалась вперёд-назад, будто укачивала того, кого уже не было.

Его называли Каэл — «тот, кто остался». И ему только предстояло узнать, что жребий не всегда забирает тех, на кого упала бирка. И что его брат, увезённый в железной клетке, однажды вернётся. Не как жертва. Как тот, кто ломает этот мир...

В тот же самый час, когда солнце поднялось над мрамор-

ными шпильями столицы Валии, служанка в грязном переднике вынесла из королевского дворца свёрток — тяжёлый, неподвижный. В свёртке лежала мёртвая девочка. Мертворождённая. Королевская кровь, которая не успела вдохнуть.

Служанка обменяла её на живую — маленькую, писклявую, взятую у нищей матери, которая торговала собой на мосту за три медяка. Ту, что принесла смерть, похоронили в тайной могиле за дворцовой стеной, даже не дав имени. А та, что притворилась принцессой, получила имя Эленор. Пепельновласая. Без единого изъяна.

Она пока ничего не знала. Она просто спала в золотой колыбели, украшенной резными лилиями, и над ней склонялась королева, чьё сердце в тот день разбилось впервые — и навсегда. Королева плакала, но это были слёзы облегчения.

«Она жива», — шептала королева. «Она — моя».

Она не знала, что настоящая принцесса лежит в сырой земле, а та, кого она баюкает, — дочь нищенки, которая в тот же миг, на мосту, уже забывала её лицо, потому что следующие три медяка были важнее, чем память о дочери.

ГЛАВА 2: «ПЁС»

ЧАСТЬ 1: ДОРОГА

Их разделили в туманное утро, когда один поехал в железной клетке за горизонт, а другой остался в люльке под закопчённым потолком. С тех пор каждый ищет другого, даже не зная, что ищет. Просто спотыкается на ровном месте, когда брату больно, и дышит глубже, когда тому легче.

Колесница шла семь дней.

Она была стара — деревянный остов, скреплённый ржавыми скобами, колёса с трещинами, которые извозчик замазывал смолой. Внутри — железная клетка. Четыре прута на каждом боку, потолок такой низкий, что взрослый человек не мог выпрямиться, и дверца с засовом, которая открывалась только снаружи.

Воняло в клетке мочой, гнилой соломой и тем сладковатым духом, который бывает, когда люди долго не моются и едят одну лепёшку на троих. Беренгар, младенец нескольких дней от роду, лежал на груди у Мейнарда, завёрнутый в грязные тряпки. Старый пастух прижимал его к себе, как самое дорогое, что у него осталось, — хотя дорогого у него давно уже не было.

Старик умер на третью ночь.

Он понял, что умирает, ещё днём — когда сердце начало спотыкаться, а в груди появилась ноющая, глухая боль, от которой перехватывало дыхание. Не от голода — хотя живот болел уже так, что казалось, кто-то скручивает кишки в узел. Не от холода — хотя ночами железо промерзло так, что кожа примерзала к прутьям. Он умер от того, что понял: они едут не туда.

Не туда, где можно умереть достойно — закрыть глаза на соломе, шепнуть последнюю молитву богам, которых он уже не помнил, и почувствовать, как душа поднимается вверх, тёплая и лёгкая. Нет. Они ехали в никуда. В пустоту. В место, где не будет даже имени.

Умирал пастух долго и мучительно. Клетка тряслась на ухабах, каждый толчок отдавался в позвоночнике, и старик чувствовал, как позвонки трутся друг о друга, как песок в мельнице. Железные прутья днём нагревались до липкого жара — кожа на спине, которой он касался решётки, покрывалась волдырями. К ночи металл выстывал, становился ледяным, и Мейнард прижимал младенца к груди, пытаясь согреть его последним теплом, которое уходило из него с каждым вздохом.

Он не кричал — кричать было некому.

Извозчик, толстый мужик с красным носом и вечно мокрыми губами, ехал впереди, погоняя лошадей. Изредка он оборачивался, смотрел на клетку, сплёвывал и снова отвора-

чивался.

На вторую ночь Мейнард попытался петь.

Тихим, дрожащим голосом — не песню, а что-то бессловесное, колыбельную без слов, которую его мать пела ему, когда он сам был младенцем. Голос срывался, переходил в кашель, но старик не останавливался. Беренгар ворочался у него на груди, и пастуху казалось, что младенец слушает.

— Ты запомни, — прошептал тот в темноту. — Запомни, что кто-то тебя любил. Даже если потом скажут, что нет.

На третью ночь сердце его споткнулось, замерло на миг — и снова забилось, неровно, судорожно, как загнанная птица в клетке. Потом споткнулось ещё раз. Ещё. А потом остановилось — просто перестало, будто кто-то выключил механизм.

Старик уронил голову на грудь. Дыхание ушло куда-то в щель между досками, растворилось в ночном ветре где-то над болотами. Тело его ещё оставалось тёплым, но это было уже не тепло жизни — тепло умирающей плоти, которая не знает, что хозяин ушёл.

Младенец не понял, что произошло. Он просто почувствовал, что исчезло то, что согревало его спину и грудь — невидимый огонь, который всё время был рядом. Теперь на его месте была тяжесть — мёртвая, неподвижная, которая давила и не давала дышать. Мальчик заплакал, но его плач потонул в скрипе колёс, в хлюпанье грязи под копытами, в далёком крике ночной птицы.

Он пролежал на теле старика ещё сутки.

Голодный, замерзающий, с пересохшим ртом. Он тыкался лицом в одежду Мейнарда, ища сосок, которого не было. Плакал до хрипоты, потом замолкал, потом снова начинал — уже тише, без надежды, по привычке. Извозчик не заглядывал в клетку — зачем?

Он заметил их только утром следующего дня, когда остановился поить лошадей у ручья. Заглянул через решётку — и выругался. Долго, витиевато, перемежая мат с молитвами, которых не слышал ни один святой.

— Чтоб тебя черти жарили, дед, — прохрипел он, отпирая замок дрожащими руками. — Хоть перед смертью бы предупредил. Я бы тебя тогда... — он не договорил, сплюнул.

Извозчик откинул клапан перемётной сумы и достал грязную флягу из бычьего пузыря. Внутри булькала мутная, пахнущая мочой жижа — смесь спирта, воды и собственной мочи, которой он запивал дорожную тоску. Он сунул горлышко в рот младенцу. Тот зачмокал — жадный, цепкий, — высасывая отвратительное пойло, которое даже взрослый выплюнул бы.

— Жри, гадёныш, — буркнул извозчик. — Это не молочко, но с голодухи и крысятина — курятина. До Бастиона ещё три дня. А мне платят за живого.

Он отнял флягу, вытер губы младенца рукавом и полез в клетку за трупом Мейнарда. Схватил старика за шиворот и выволок наружу. Тело оказалось тяжёлым — мёртвые всегда тяжелее живых, будто душа, уходя, оставляет на замену сви-

нец.

Мост, на котором они остановились, был старым — деревянные доски прогнили, перила отсутствовали, снизу, в темноте, шумела быстрая река.

Извозчик размахнулся и сбросил тело в воду. То шлёпнулось о поверхность, подняв фонтан ледяных брызг, перевернулось раз, другой и пошло ко дну, оставляя на воде маслянистые разводы, которые через минуту исчезли.

— Упокойся с миром, дед, — буркнул извозчик, крестясь левой рукой, справа налево. — Ты своё отжил.

Младенца он взял иначе. Сначала просто смотрел на него — на это крошечное лицо с пузырьками слизи на губах, на воспалённые глаза, которые, казалось, видели больше, чем им полагалось, на ручки, сжатые в кулачки. Потом извозчик осторожно подsunул ладонь под затылок, подхватил под спинку и поднял на уровень лица.

Ребёнок не плакал. Он просто смотрел — серыми, мутными глазами, в которых ещё не было ни страха, ни доверия, только пустота.

— Живучий, гадёныш, — сказал извозчик не то с уважением, не то с брезгливостью. — Столько дней в клетке — и жив. Никак тебя смерть не берёт.

Он передал свёрток рыцарю.

Рыцарь сидел на коне в двух шагах, неподвижный, как памятник. Доспехи его были матовыми, серыми, без блеска — они не отражали ни солнца, ни лиц тех, кто смотрелся в них.

Шлем — гладкий, как яйцо, с узкой прорезью для глаз, из которой ничего не было видно, но чувствовалось — холод, внимание, приговор.

Он принял младенца так, как принимают подачку — не глядя, без благодарности. Посмотрел на мальчика — тот посмотрел в ответ. В этом взгляде не было страха, свойственного новорождённому, не было мольбы, не было даже любопытства. Только мутная, доисторическая пустота, которую первые люди нашли в пещерах, прежде чем научились добывать огонь.

Рыцарь отвернулся. Ни слова. Ни вздоха. Ни проклятия, ни имени, которым мальчика звали в Реграде. Он просто откинул клапан седельной сумы и бросил туда младенца, как мешок с овсом.

Клапан захлопнулся. Темнота обняла Беренгара — липкая, пахнущая потом, железом и застарелой кровью. Мальчик не заплакал.

Это было его первое проклятие: способность чувствовать, но не ощущать боли. Видеть, но не понимать ужаса. Жить, но не знать зачем.

ЧАСТЬ 2: СВЯТОЙ БАСТИОН

Город открылся им на рассвете пятого дня.

Сначала показались башни — три чёрных клыка, торчащих из утреннего тумана, как кости гигантского скелета. Потом — стены, серые, высотой с десятиэтажный дом, с бойницами, похожими на пустые глазницы. Потом — мост, переброшенный через каньон, где когда-то текла река, а теперь зияла сухая, каменистая пропасть, на дне которой белели кости неудачливых самоубийц.

Святой Бастион стоял на слиянии двух мёртвых рек — Хладной и Пустошной. Воды в них не было уже много лет, только серый ил, пузырящийся на солнце, да кости рыб, торчащие из пересохшего дна, как окаменевшие слёзы. Но русла остались, и город врос в эту развилку, как опухоль в тело — глубоко, надёжно, навсегда.

Предания гласили, что некогда здесь высился город-гигант. Шпили из стекла, уходящие в облака. Улицы, вымощенные камнем, который светился по ночам, избавляя жителей от нужды в факелах. Парящие мосты, соединяющие башни на высоте птичьего полёта. Говорили, что в его библиотеках хранились знания о том, как лечить любые болезни, как поднимать грузы силой пара и как говорить с теми, кто находится на другом конце мира.

Теперь от всего этого остались только сказки, которые ма-

тери шептали детям на ночь, прежде чем уснуть голодными.

Над землёй торчали только нижние ярусы былых башен — чёрные, обугленные останцы, затянутые паутиной трущоб. Люди лепили свои лачуги прямо к древним стенам, как ракушки к днищу корабля. Дым из тысяч очагов поднимался к небу густыми космами, застилая солнце, и в Бастионе всегда пахло горелым — дёгтем, костями, старой золой, чем-то кислым и сладким одновременно.

Власть здесь принадлежала королю Теодорику. Человеку, которого никто не видел, но все боялись. Он восседал где-то в сердце этого каменного улья, в покоях, куда не проникал даже свет, и его воля расходилась по городу, как круги по воде от брошенного камня — тихо, неумолимо, смертельно. Слуги, которые входили к нему, выходили с пустыми глазами и не помнили, что видели. Некоторые не выходили вовсе.

Волю короля исполняли его рыцари-псы.

Их было семеро. Семеро безликих в матовых доспехах, которые не отражали ни огня, ни лиц. Семеро железных всадников, чьи кони были подкованы серебром, чтобы не ступать по освящённой земле. Семеро, кто ездил по деревням и собирал «лишних» — тех, чья жизнь не стоила хлеба, который они съедали. Они не имели имён — только звания и цифры. Но народ дал им имя: Жнецы. Потому что они приходили, когда никто их не ждал, и уходили, увозя с собой детей, стариков и тех, кто посмел спросить: «Почему?»

Тот, кто забрал Беренгара, звался Гурион. Он не был ни

старшим, ни самым сильным, но все остальные шли за ним — потому что в его глазах никогда не было сомнения. Взгляд его напоминал лезвие ножа: тонкий, острый, оставляющий за собой только боль и пустоту. Он носил плащ восьмого рыцаря, погибшего тридцать лет назад, — чужую нашивку, чужой выцветший герб, — и никто не смел напомнить ему об этом.

Потому что у него был меч — полтора метра закалённой стали, на рукояти которого были выцарапаны буквы на древнем языке, которых никто не мог прочесть. И глаза, которые никогда не моргали. Даже когда он спал — а он спал с открытыми глазами, — казалось, что он всё видит.

ЧАСТЬ 3: «ПСАРНЯ»

Казарма, куда Гурион принёс младенца, находилась под северной башней — Чёрным Клыком.

Спуск вёл по винтовой лестнице, вырубленной прямо в скале. Ступени были стёрты — по ним прошли тысячи ног, и каждая оставила свой след, свою частицу пота, страха, боли. Воздух с каждым шагом становился тяжелее, спрессованнее, пропитаннее. Здесь пахло кровью, дёгтем и железом — три запаха, которые смешивались воедино, образуя букет, который никогда не выветривался, въедался в одежду, в кожу, в лёгкие.

Подземелье было низким — потолок давил на плечи, даже если ты был ребёнком. Стены сложены из грубо отёсанного камня, со щелями, в которых копошились мокрицы и пауки. Вдоль стен — ясли: деревянные коробки, набитые гнилой соломой, в которых лежали дети. Пятеро. Шестеро. Семь — никто не вёл точный счёт.

В центре комнаты стояла железная печь, чёрная от копоти, с дырой, в которую вёдрами закидывали уголь, когда наступала зима. Сейчас в ней тлели остатки — ни огня, ни тепла, только запах гари и золы, которая летала по комнате серыми хлопьями.

Хельга, смотрительница, встретила их у входа.

Она была стара — никто не знал её точного возраста, но

говорили, что она служила здесь ещё до того, как нынешний король взошёл на трон. Лицо её напоминало печёное яблоко — морщинистое, в коричневых пятнах, с одним жёлтым зубом, торчащим из десны, как полуразрушенный частокол. Уши оттопыренные, словно у летучей мыши. Глаза — две мутные бусинки, которые, однако, видели всё: кто украл лишнюю краюху хлеба, кто притворяется спящим, у кого начинается лихорадка.

Она носила чёрное платье, когда-то, наверное, дорогое, а теперь — грязные лохмотья, подпоясанные верёвкой. На поясе висела связка ключей — железных, медных, серебряных — от всех дверей псарни, от всех камер, от всех тайн, которые она хранила.

— Ещё один, — сказал Гурион, ставя на стол седельную суму.

Хельга взяла мальчика осторожно, почти нежно — такими руками держат вещи, которые могут разбиться. Она развернула тряпки, осмотрела пуповину — завязана кое-как, наспех, узел развязывался, сочилась сукровица. Пересчитала пальцы на ногах — десять, всё в порядке. Погладила по животу — не вздутый, не твёрдый, значит, не глисты. Посмотрела на родимые пятна — два на спине, одно на запястье, похожее на след от ожога.

— Здоровый, — заключила она. — Живучка.

Она усмехнулась беззубым ртом, и этот звук напоминал скрежет ржавых петель. Потом спросила:

— Как назвать-то?

Гурион уже повернулся, чтобы уйти.

— В Реграде его звали Беренгар, — бросил он через плечо, не оборачиваясь. И добавил, уже из темноты лестницы: — Но здесь имена не нужны.

Он ушёл, лязгая доспехами, и каждый его шаг отдавался в каменных сводах глухим эхом, будто кто-то бил в похоронный колокол — медленно, тяжело, неотвратимо.

Хельга постояла, глядя ему вслед, потом сплюнула на пол.

— Имена не нужны, — передразнила она тонким, скрипучим голосом. — А кормить кого будешь, железяка железная?

Она сунула младенцу в рот тряпку, пропитанную коровьим молоком — кислым, с горчинкой, разбавленным водой, чтобы хватило на всех. Беренгар начал сосать жадно, причмокивая, втягивая жижу пересохшим ртом. Хельга смотрела на него, и в её мутных глазах мелькнуло что-то, похожее на жалость — но только на миг, а потом она положила его в ясли рядом с другими «щенками».

Их было пятеро — таких же украденных, привезённых из ближних и дальних деревень. Они лежали вперемешку: кто-то спал, кто-то тихо скулил, кто-то уже учился переворачиваться на животик, глядя на мир мутными, ничего не понимающими глазами. Все они были будущими псами. И ни один из них не выбрал этой участи.

ЧАСТЬ 4: «ЩЕНКИ»

Беренгар рос среди волчат.

Первый год был самым трудным — половина детей не доживала до года. Умирили от лихорадки, от поноса, от того, что Хельга забывала покормить или напоить. Их тела выносили в подземный склеп и сбрасывали в общую яму — никаких имён, никаких молитв, просто мясо, которое перестало дышать.

Но малец выжил.

В два года он уже ходил и говорил отдельные слова — «дай», «хочу», «больно». В три — дрался за еду, кусался и царапался, когда кто-то из старших пытался отобрать его миску с кашей. В четыре — научился молчать. Не потому, что его научили. Просто понял, что слова ничего не меняют.

Старшие — те, кого привезли годом или двумя раньше, — уже умели ползать и кусаться профессионально, как звери. Они цапали друг друга за уши, дрались за место у печи, отбирали тёплые лохмотья у слабых. Хельга смотрела на это равнодушно — естественный отбор, выживает сильнейший. Она даже подбадривала драчунов, бросая им объедки в награду за победу.

Имён у них не было — только клички, которые Хельга давала по самым заметным изъянам. Хромой — тот, у кого левая нога короче правой, он прыгал при ходьбе, как заяц.

Шепелявый — который не выговаривал шипящих и брызгал слюной при каждом «ч», его дразнили и били чаще других. Косой — с бельмом на правом глазу, похожим на застывший желток, он видел плохо, но бил метко — натренировал левую руку.

Беренгара Хельга назвала Молчуном — потому что он никогда не плакал.

Никогда. Даже когда его били — а били часто, потому что он не отдавал свою еду, не уступал место у печи, не опускал глаза перед старшими. Даже когда старшие щенки кусали его за пальцы, пытаясь отобрать краюху чёрствого хлеба. Даже когда Хельга, пьяная в стельку, била его мокрой тряпкой по лицу только за то, что он посмотрел на неё «не тем глазом».

Он просто лежал и смотрел — серыми, выцветшими глазами, в которых не было ни злобы, ни обиды, ни даже той глупой надежды, что когда-нибудь всё изменится.

«Словно камень, — думала иногда Хельга, глядя на него, когда он сидел в углу и смотрел в стену. — Словно кусок гранита, у которого ничего внутри. Ни крови, ни сердца — одна тоска».

Но она ошибалась. Внутри Беренгара было много чего. Страх — глубокий, липкий, который он научился глотать, как горькое лекарство, не давясь и не морщась. Ярость — чёрная, тяжёлая, которая росла с каждым днём. И боль — такая огромная, что для неё не было имени.

Просто он не показывал этого.

ЧАСТЬ 5: ВЫБОР

В пять лет Беренгар впервые задумался о том, что такое смерть.

Не отвлечённо, как думают взрослые, размышляя о душе и загробном мире. А практически, по-звериному. Он видел, как умирают щенки — от голода, от холода, от того, что Хельга забывала закрыть дверь и в подвал проникали крысы, которые грызли лица спящих детей. Он видел, как брат Фосс, старший писец из Грэдона, приходил раз в месяц и смотрел на них, как на скотину, — выбирал, кого забрать «на убой».

Потому что мир, как он понял, — это клетка. Большая клетка с железными прутьями, колючей проволокой наверху и стенами, за которые не убежать. И выйти из неё можно только двумя способами: стать псом или стать мясом.

«Псами» становились те, кого рыцари забирали в ученье. Их учили убивать, но взамен давали хлеб — нормальный, белый, не чёрствый, — койку с настоящим матрасом, набитым соломой, и право носить чёрный плащ. «Мясом» становились те, кто не выдерживал — умирали от болезней, от побоев или просто исчезали по ночам, когда Хельга брала их за руку и вела в подвал, откуда никто не возвращался.

Беренгар решил, что будет псом. Не потому, что рвался к власти или жаждал крови. А потому, что мясом умирать больно. Он видел, как Хромого увели в подвал — тот не

сопротивлялся, только смотрел на Беренгара с какой-то пустой, всепрощающей тоской, и потом несколько дней из-под двери доносился запах жареного мяса. Его не кормили эти дни — кормили тем, что осталось от Хромого.

Беренгар не ел. Впервые в жизни — не потому, что брезговал. Просто не мог. Желудок сжимался, как кулак, и выплёвывал обратно даже воду. А на третий день Хельга вылила ему похлёбку на голову и сказала:

— Будешь дураком — тоже в печь пойдёшь.

Он поел. С закрытыми глазами. И больше никогда не брезговал.

ЧАСТЬ 6: ПРИЗЫВ

Молчуну исполнилось восемь, когда в псарню пришёл Гурион.

Он спустился по винтовой лестнице, и его шаги были такими же — мерными, железными, как всегда. Дети, игравшие в углу, замерли. Тот, кто постарше, рефлекторно вытянулся в струнку — военная выправка, вбитая побоями. Те, кто младше, попятились к стене, прижались к камню, стараясь стать незаметными.

Рыцарь оглядел шеренгу так, как крестьянин оглядывает щенков — ищет, кого оставить, а кого утопить. Мальчишки стояли, дрожа. Косой шмыгал носом, размазывая сопли по щеке. Шепелявый покусывал губу, чтобы не заплакать — она у него уже была искусанной до крови. Хромой стоял, перенеся вес на здоровую ногу, и его левая коленка ходила ходуном, издавая сухой, ритмичный стук.

Гурион прошёлся перед ними, бесшумно ступая по грязному полу. Его железные сапоги, которые обычно гремели, как цепи, сейчас не издавали ни звука — будто он был не человеком, а призраком в латах. Потом поднял руку и ткнул пальцем в грудь Беренгара.

Палец был толстым, в железной перчатке, холодным даже сквозь рубаху. Беренгар не отшатнулся — стоял, как вкопанный, глядя в щель забрала, откуда на него смотрели два се-

рых, ледяных глаза.

— Этот, — сказал Гурион. — Худой, но жилистый. И глаз не отводит.

Хельга скривилась, как будто съела лимон.

— Забирай. Всё равно кормить больше нечем. Этот жрёт за троих, а мяса на нём — с мой кулак.

Она не врала. Беренгар действительно был худым — рёбра можно было пересчитать через рубаху, ключицы выпирали, как камни из земли. Но он был жилистым — мышцы, тонкие, как верёвки, перекатывались под кожей, когда он сжимал кулаки. Хельга называла это «бешеной верёвкой» — такие не устают, не замерзают и недохнут, пока им не перерубят хребет.

Беренгар не понял, что происходит. Он просто стоял, смотрел на Гуриона и чувствовал, как внутри него что-то переворачивается — тяжело, медленно, как камень, сдвинувшийся с места после землетрясения. Это был страх. Но не детский, не тот, от которого плачут и просят на ручки. Другой — тот, который заставляет взрослых мужчин писать в штаны и молиться богам, в которых они не верят. Тот, который приходит вместе с пониманием, что твоя жизнь больше не принадлежит тебе.

Мальчик посмотрел на этого бога в железе — и решил, что когда-нибудь станет сильнее его.

Не сейчас. Не завтра. Но когда-нибудь — обязательно.

ЧАСТЬ 7: ОБУЧЕНИЕ

Первые три года Гурион не давал Беренгару меча.

Он ставил его в угол, в полумрак, где пахло пылью и старой кровью, и говорил одно слово:

— Смотри.

И тот смотрел. Часами, днями, неделями. Смотрел, как Гурион учит старших псов — тех, кто уже умел держать оружие и не моргал при виде крови. Смотрел, как клинок входит в соломенное чучело — сначала медленно, почти ласково, потом быстро, как змеиный укус. Смотрел, как отсекает конечности деревянным манекенам — руку, ногу, голову — с такой лёгкостью, будто резал масло.

Рыцарь не объяснял. Он показывал, а малец впитывал, как губка — каждое движение, каждый наклон корпуса, каждый выдох перед ударом. Потом, когда рыцарь уходил, мальчик оставался один и повторял — без меча, просто руками, в воздухе, раз за разом, пока мышцы не начинали гореть, а дыхание не срывалось.

Но главное, что видел Беренгар, происходило не на плацу.

Рыцари брали его с собой в вылазки — не в бой, а так, как берут щенка на охоту, чтобы он привыкал к запаху крови. Беренгар видел, как умирят бунт в шахтёрской деревушке — мужики с кирками против всадников в доспехах. Псы забивали их дубинами, как тюленей, не разбирая, кто прав, кто

виноват. Женщин нанизывали на колья — длинные, заострённые, как копья, — и ставили вдоль дороги, чтобы другие знали, что бывает с теми, кто кормит бунтовщиков.

Он видел, как жгут поселения, где превышен «лимит душ». Псы загоняли людей в амбары, поджигали с четырёх сторон, а тех, кто выбегал, добивали мечами. Воздух пах горелым мясом и сладковатым дымом — этот запах Беренгар запомнил навсегда, он до сих пор иногда просыпался ночью, чувствуя его, хотя прошло уже много лет.

Он видел, как в Бастионе, в подземных казематах, пытаются тех, кто посмел спросить: «Почему мир идёт вспять? Куда делись знания? Кто мы такие?» Палачи работали неторопливо, с чувством, с толком, с расстановкой. Сначала вырывали ногти, потом выбивали зубы, потом вырезали язык. А потом, когда человек уже не мог кричать, начинали самое интересное — медленно, сантиметр за сантиметром, сдирали кожу, прижигали раны калёным железом, выливали в горло расплавленный свинец.

Беренгар не отворачивался. Он смотрел и запоминал — не потому, что ему нравилось, а потому что Гурион сказал: «Знание — это оружие». И он верил. Пока ещё верил.

ЧАСТЬ 8: ПЕРВЫЙ МЕЧ

В двенадцать лет Беренгар получил свой первый меч.

— Вот, — сказал Гурион, бросая клинок на землю. — Для рубки кустов. Ты пока не дорос до настоящего.

Он не соврал. Меч был старым — ржавым, зазубренным, с трещиной у самой гарды, такой глубокой, что, казалось, клинок вот-вот переломится. Рукоять была обмотана старой проволокой, которая впивалась в ладонь при каждом движении, оставляя кровавые полосы. Баланс — никакой, центр тяжести смещён к острию, так что даже поднять оружие было трудно, не то что рубить.

Молчун поднял его. Не сказал ни слова — только посмотрел на рыцаря, и в этом взгляде было что-то, от чего рыцарь на миг замер. Не угроза — нет, мальчик не посмел бы угрожать. Обещание. Тихое, холодное, как зимняя река.

Каждую ночь, когда казарма затихала, мальчик садился у тусклого очага и точил этот жалкий обрубок. Камнем, который нашёл в конюшне — пористым, красным, оставлявшим на металле царапины. Потом более гладким, который украл у кузнеца — мелкозернистым, серым, стоявшим двух дней каши. Потом оселком, который выпросил у Хельги в обмен на лишнюю порцию — она долго торговалась, но в конце концов согласилась, потому что Беренгар пообещал приносить ей дикое мясо, когда начнёт ходить на охоту.

Он точил часами. До кровавых мозолей на пальцах, до того, что в глазах темнело, а рука немела. Соседи по казарме ворчали, просили прекратить, но тот не обращал внимания. Звон металла о камень стал его колыбельной.

Через три месяца клинок блестел — не как новый, потому что нового в этом мире ничего не было, а как старая монета, которую долго тёрли о сукно. Через полгода на нём не осталось ни единого пятнышка ржавчины — только бледные, как шрамы, следы от глубоких царапин, которые нельзя было вывести. А через год Беренгар мог с одного удара рассечь соломенное чучело пополам — так, что верхняя часть падала раньше, чем нижняя успевала коснуться земли.

Гурион взял меч, покрутил его в руках, поднёс к свету, постучал ногтем по лезвию — оно зазвенело тонко, чисто, как колокольчик.

— Неплохо, — сказал рыцарь. Это было первое одобрение, которое Беренгар слышал за четыре года.

— Ты сделал это сам, — продолжал Гурион, возвращая меч. — Запомни этот момент. Ты можешь создавать, а не только разрушать.

Беренгар сжал рукоять. Впервые за долгое время он почувствовал не пустоту, а что-то другое. Маленькое, тёплое, похожее на то, что он когда-то чувствовал, лежа на груди у старика Мейнарда, который пел ему колыбельную без слов.

Гордость.

Он не улыбнулся — разучился. Но внутри что-то ёкнуло.

Он убрал меч в ножны и посмотрел на Гуриона.

— Спасибо, — сказал он. Голос его был хриплым, как будто он не говорил это слово никогда раньше.

Гурион кивнул. В его глазах, обычно холодных и пустых, на мгновение мелькнуло что-то, похожее на тепло.

— Научишься убивать, — сказал он. — А потом научишься не убивать. Это труднее.

ЧАСТЬ 9: ПЕРВАЯ КРОВЬ

В четырнадцать лет Беренгар убил в первый раз.

Должник. Мужик из пригородных хижин — лысый, с выбитыми передними зубами, с одним глазом, заплывшим бельмом, с руками, чёрными от земли и цемента. Он не заплатил налог зерном, потому что зёрен не было. Второй год подряд земля рожала только лебеду и горечь. Люди грызли кору, варили ремни, ели глину, чтобы хоть чем-то наполнить желудок. Некоторые ели землю — настоящую, из которой ничего не вырастало, — и умирали с раздутыми животами, полными песка.

Рыцарь велел щенку перерезать должнику горло.

Они стояли на пустыре за городскими стенами. Серое небо, редкий снег, который таял, не долетая до земли. Ветер дул с запада, принося запах болот — гнилой, сладковатый, приторный. Мужика привязали к старому козлу — такой же, на каком колют дрова, только выше и грубее. Руки за спиной, колени на грязном песке.

Беренгар держал нож — короткий, с деревянной рукоятью, выточенной в форме женской груди. Странная, языческая деталь — прежний хозяин явно был поклонником старых богов, которых церковь давно запретила. Лезвие было острым — острее, чем у многих мечей, — и в свете пасмурного дня отливало холодным, голубоватым блеском.

— Я могу ударить мечом, — сказал мальчик. Голос его не дрожал, но внутри всё сжалось — там, где прятался страх. — Быстро. Чисто.

— Меч — милосердие, — ответил Гурион. Он стоял у стены, скрестив руки на груди, и его забрало было опущено так, что Беренгар видел только собственное отражение — бледное, перекошенное, с огромными глазами. — А ты не должен знать милосердия. Ты должен знать только приказ. Бери нож.

Мужик смотрел на Беренгара. Не злобно, не умоляюще. Устало. Как смотрит на мир загнанная лошадь, которая знает, что конюх придёт с молотком. Не потому, что она больна или стара — просто хозяину нужно мясо, а лошадь больше не нужна.

— Ты тоже из «лишних»? — спросил мужик хрипло, с присвистом. В горле у него клокотало — видно, болел лёгкими. — Также украли?

Беренгар не ответил. Он подошёл ближе. Не смотрел в глаза — смотрел на шею, туда, где билась жилка, где кожа была самой тонкой, где под ней угадывались две красные полосы — сонные артерии. Гурион учил: резать нужно по этим полосам, от середины к уху, одним движением, без рывков.

Он зажмурился на секунду.

— Режь, — сказал рыцарь.

Беренгар открыл глаза и перерезал горло.

Кровь брызнула на лицо — тёплая, солёная, с металлическим привкусом. Она была гуще, чем он ожидал, и пахла же-

лезом — так пахнет старый ржавый гвоздь, если лизнуть его языком. Мужик захрипел — не крик, не стон, а булькающий, мокрый звук, похожий на то, как вода уходит в песок. Дёрнулся, попытался поднести связанные руки к шее, но только размазал кровь по груди, по рубаше, по лицу.

Потом его глаза остекленели. Сначала один — тот, который был здоровым. Потом второй — мутный, бельмоватый. Зрачки расширились, стали огромными, чёрными, и замерли.

Тело обмякло. Голова упала на грудь, подбородок коснулся ключиц, и из раны всё ещё сочилась кровь — уже не фонтаном, а тонкой струйкой, как вода из плохо закрытого крана.

Гурион подошёл, нагнулся, провёл пальцем по шее мужика — проверил пульс. Потом выпрямился и кивнул.

— Хорошо, — сказал он. В его голосе не было одобрения — только констатация факта, как у мясника, который принял тушу. — Теперь ты — пёс.

Беренгар вытер нож о штаны должника, потом о свои. Он посмотрел на тело — на лужу крови, которая расплзлась по песку, как маслянистое пятно, впитываясь в землю, — и понял, что не чувствует ничего.

Ни отвращения. Ни страха. Ни облегчения. Ни гордости. Ни вины.

Только пустоту. Глубокую, чёрную пустоту, которая была с ним с того самого дня, как закрылась крышка седельной

сумы. Она не болела — она была, и всё. Как привычка. Как дыхание. Как биение сердца, которое он уже не слушал.

Он не помнил ни отца, ни матери, ни брата. Не помнил Реграда — ни домов, ни запаха глины, ни стука гончарного круга. Всё это исчезло, как исчезает сон после пробуждения — остаётся только смутное ощущение, что что-то было, но что именно — не вспомнить.

ЧАСТЬ 10: СТАНОВЛЕНИЕ

Вскоре Беренгар стал одним из лучших мечников в Бастионе. Не среди рыцарей — те были недосыгаемы, как боги, со своими древними клинками из голубоватой стали, которая не ржавела и не тупилась. Среди псов. Среди тех, кого бросали в самую грязь: подавлять бунты, казнить беглых, зачищать деревни после жребия.

Он носил чёрный плащ без знаков — потёртый, с выцветшими краями, который достался ему от какого-то убитого пса. Плащ пах дымом, потом и кровью — запах, который уже не выветривался, как бы его ни стирали. Короткую кольчугу — дешёвую, со вставками из сыромятной кожи, которая впитывала влагу и начинала гнить после третьей недели в походе. Сапоги с железными носиками — чтобы бить врага в пах, когда не успеваешь выхватить меч.

И меч. Тот самый, который он получил — почищенный, отточенный, с новой рукоятью, обмотанной кожей, которую Беренгар содрал с убитого кабана. Клинок был из серой стали — грубой, переплавленной в походных горнах из обломков лемехов и подков. Это было не то оружие, что осталось от погибшей цивилизации, — не те клинки, что хранились в арсеналах рыцарей и могли рубить камень, не зазубриваясь. Но парень умел владеть им так, что противник падал раньше, чем успевал понять, откуда пришла смерть.

Доспехи его вечно были в зазубринах и крови, которую он перестал смывать. Она засохла коркой, потрескалась, и теперь на чёрных стальных пластинах виднелись тёмно-бордовые разводы, похожие на карты неизвестных материков.

Товарищи-псы боялись его.

Не потому, что он был жесток — жестоки были все. Любой из них мог перерезать глотку ребёнку, не поморщившись. Любой мог смотреть, как жгут деревню, и жевать сухарь, не испытывая угрызений совести. Любой мог зарезать женщину, которая просила пощады, и тут же пойти к другой — той, что была помоложе.

Но Беренгар был другим.

Он не смеялся. Никогда. Даже когда другие псы травили байки про удачные казни, даже когда напивались до чёртиков и начинали блевать под стол. Он не пил — не потому, что боялся потерять контроль, а потому что не видел смысла. Алкоголь делал людей глупыми и медленными, а в его ремесле глупость стоила жизни.

Он не ходил к девкам — в городе было несколько публичных домов, куда псы заходили регулярно, сбрасывая напряжение после зачисток. Беренгар не чувствовал напряжения. Или чувствовал, но не так, как другие. Ему не нужны были чужие тела, чтобы забыться. Он и так почти ничего не помнил.

Он убивал. По приказу. Без вопросов. Сотни раз. Он привык к запаху крови, к хрипу умирающих, к тому, что глаза

жертв, когда они тускнеют, становятся пустыми. Он перестал замечать это.

ЧАСТЬ 11: БОЛЬШОЕ ДЕЛО

В тот же год наставник впервые взял своего верного пса на большое дело.

Гурион долго не решался. Три ночи ворочался на жёсткой койке, глядя в потолок, где догорали отблески масляной лампы. Беренгар был ещё молод — семнадцать лет всего. Видел бунты, видел зачистки, но никогда — публичную казнь. Тем более — казнь в чужом королевстве, где нет места случайным.

«Надо, — сказал он себе под утро. — Если он станет псом до конца, он должен знать, как пахнет страх перед топором. И как пахнет ложь».

Он разбудил Беренгара, бросил коротко:

— Собирайся. Едем в Валию.

— Зачем? — спросил тот, уже затягивая ремни кольчуги.

Гурион посмотрел ему в глаза — серые, выцветшие, ещё не утратившие той последней искры, которую он сам когда-то потерял.

— Ты должен увидеть, как казнят самозванцев. Это полезный урок. Запомни: никто не имеет права притворяться тем, кем не является. Особенно — королями.

Беренгар не спросил больше ни о чём. Только кивнул.

— Будет казнь, — сказал рыцарь, когда они выезжали за ворота Бастиона. — Женщина. Выдавала себя за дочь коро-

ля. Прилюдно. Чтобы все видели.

Они ехали в Валию — соседнее королевство, где правил старый король Эрман. Человек, который сошёл с ума от горя двадцать лет назад, когда его единственная дочь умерла от лихорадки. Говорили, что после этого он приказал забальзамировать тело принцессы и держал его в своей спальне, разговаривая с ним по ночам. Говорили, что он искал по всему миру учителей запретных знаний, которые вернули бы её к жизни, и отдал полказы шарлатанам и фокусникам. Говорили, что когда появилась та девушка — как две капли воды похожая на его мёртвую дочь, — Эрман заплакал впервые за десять лет.

Но счастье его длилось недолго. Советники, которые боялись потерять власть, донесли, что она самозванка — подосланная врагами, чтобы выведать тайны, украсть корону или просто унижить королевский род. Настояла ли девушка сама — никто не знал. Может, её силой заставили. Может, она сама поверила в свою ложь. Может, ей просто хотелось есть и крышу над головой.

Эрман, которому уже нечем было дорожить, приказал казнить её так, чтобы вся Валия содрогнулась.

— Почему это дело рыцарей Бастиона? — спросил Беренгар, когда они въехали в ворота столицы Валии. Город был серым, мрачным, с узкими улицами и вечными сумерками — будто солнце не хотело смотреть на то, что здесь творится. — Валия — чужое королевство. У них есть свои палачи.

Гурион долго молчал. Копыта его коня мерно стучали по брусчатке — цок, цок, цок, как маятник старых часов, отсчитывающих время до смерти. Потом рыцарь натянул поводья, остановился и впервые за много лет развернулся к Беренгару всем забралом, всем своим безликим шлемом, в котором отражались дома, фонари и облака.

— Потому что Бастион — это не место, — сказал он. — Это закон. А закон один для всех: никто не имеет права противиться тем, кем не является. Особенно — королями.

Беренгар не понял. Но он привык не понимать. Он привык просто исполнять.

ЧАСТЬ 12: КАЗНЬ

Накануне казни Беренгар проходил мимо темницы. Он не знал, зачем остановился. Его ноги сами привели его к решётке, за которой сидела она.

Приговорённая сидела на соломе, прислонившись спиной к стене. Её пепельные волосы были спутаны, платье разорвано, на щеке засохла грязь. Она не плакала. Она смотрела в стену и молчала.

Беренгар замер. Он не знал, почему она привлекла его внимание. Она была не красива в этот момент — измучена, грязна, с красными от слёз глазами. Но в ней было что-то, чего он не видел ни в ком из тех, кого казнил.

Стойкость.

Она не просила пощады. Она просто ждала.

Девушка подняла голову и посмотрела на него. Их взгляды встретились. Она не испугалась. Не отвела глаз. Просто посмотрела — и он почувствовал, как внутри него, в той пустоте, что была его спутницей, что-то дрогнуло.

Он хотел сказать что-то. Не знал что. И промолчал.

Она тоже молчала.

Пёс ушёл. Но её взгляд остался с ним...

Казнь назначили на закате.

Площадь в столице Валии была огромной — выложенной серыми гранитными плитами, которые помнили не одну

смерть. Каждую трещину, каждую выбоину, каждое тёмное пятно можно было объяснить чьей-то кровью, чьим-то последним криком, чьим-то отчаянием, которое никто не услышал. По углам горели смоляные факелы — чаши на высоких шестах, заполненные дёгтем и тряпками. Они горели ярко, но давали больше дыма, чем света, и от этого площадь казалась ещё мрачнее, ещё больше похожей на дыру в преисподнюю.

Солнце уже садилось за крыши домов, окрашивая небо в кроваво-красный цвет. Облака напоминали рваные раны, а тени от факелов танцевали на стенах, как злые духи, которые пришли посмотреть на представление.

Народ собрался со всего города — сотни, тысячи усталых, злых лиц. Мужики в драных рубашках, бабы в платках, повязанных так, чтобы защитить волосы от грязи, которую собирались кидать. Дети, которых привели, чтобы «знали, как бывает с теми, кто лжёт королю». Младенцы на руках у матерей — те, кого ещё не успели отнять псы, те, кто пока считался «нужным».

В толпе пахло потом, дешёвым табаком, кислым вином и той особой смесью страха и любопытства, которая бывает перед казнью. Кто-то нёс тухлые яйца в лукошках — тухлые специально, трёхнедельной выдержки, чтобы воняло сильнее. Кто-то — камни, завернутые в тряпицы, чтобы не обжигать руки. Кто-то — просто кулаки, потому что ничего другого у них не было.

На эшафоте стояла она.

Эленор.

Девушка лет семнадцати — тонкая, как тростинка, с пепельными волосами, спутанными и грязными, падающими на лицо мокрыми прядями. На ней была разорванная бархатная мантия — та самая, в которой она целый год выходила к народу, улыбалась, махала рукой и принимала на себя всю ненависть подданных. Теперь мантия висела клочьями, обнажая худые плечи и ключицы, выступающие под кожей, как камни на дне пересохшей реки. Под мантией — грязная рубашка, местами порванная, с пятнами, происхождение которых лучше было не выяснять.

Глаза её были красными от слёз — она плакала всю ночь, с того самого момента, как её вытащили из камеры. Плакала без звука, потому что горло пересохло, а слёз было так много, что они текли по щекам сами собой, не переставая. Но сейчас, стоя на коленях перед плахой, она уже не плакала.

Просто смотрела в толпу — с вызовом и отчаянием, смешанными в равной пропорции. Смотрела так, будто искала в этих тысячах лиц одно — то, которое могло бы её спасти. Но ни одно лицо не смотрело на неё с состраданием. Только с ненавистью, любопытством или равнодушием.

Беренгар стоял в первом ряду охраны — в трёх шагах от палача, слева от него. Ему велели перекрыть проход, если кто-то попытается помешать казни, и не спускать глаз с толпы. Правую руку он держал на рукояти меча — не потому,

что ждал нападения, а по привычке. Левая рука висела вдоль тела, расслабленная.

Гурион возвышался на коне позади — чёрный силуэт на фоне красного заката, похожий на статую бога, который пришёл посмотреть на смерть и не нашёл в ней ничего интересного.

Глашатай — толстый мужчина в красной мантии, с золотой цепью на шее и серебряным жезлом в руке — прочитал приговор. Длинно, витиевато, с перечислением всех титулов короля (их было тридцать семь) и всех грехов осуждённой (их было девять). Самозванство, оскорбление королевского достоинства, обман народа, богохульство, неуважение к особам королевской крови, незаконное ношение короны, присвоение титулов...

Смерть через отсечение головы.

Эленор, стоя на коленях перед плахой, подняла голову и скользнула взглядом по рядам стражников. Она искала глаза кого-то — может быть, того, кто спасёт, может быть, просто человека, который посмотрит на неё без ненависти.

И она нашла его.

Он стоял в трёх шагах от эшафота, выделяясь среди коренастых псов своей вытянутой, почти аскетичной фигурой. Чёрный плащ не мог скрыть худобы — запястья были тонкими, как у подростка. Но в том, как он держался — чуть ссутулившись, с мечом, висящим низко на бедре, — чувствовалась звериная жилистость. Такое тело не берёт массой, оно

берёт выносливостью и скоростью.

Его лицо было узким, с острыми скулами и тонким, чуть искривлённым носом. Тёмные, почти чёрные волосы падали на лоб, на висках пробивалась ранняя седина — Беренгару было всего семнадцать, но псарня состарила его раньше времени. На левой щеке белел тонкий шрам — от скулы до подбородка. Под левым глазом — родимое пятнышко, почти незаметное, которое делало его лицо не просто красивым, а живым.

Но главное — глаза. Серые, выцветшие до прозрачности, они, казалось, видели сквозь время и сквозь ложь. В них не было ни злобы, ни жестокости — только глубокая, вековая усталость и что-то ещё... что-то, что Эленор не могла назвать. Тоска? Одиночество? Или, может быть, способность чувствовать чужую боль, которую он сам в себе отрицал?

Она задержала на нём взгляд на три удара сердца.

В её глазах, ещё красных от слёз, мелькнуло нечто — не надежда, нет, надежды не было. Интерес? Удивление? «Откуда в этом псе столько человеческого?»

Беренгар тоже смотрел на неё. Он видел тонкую, как тростинка, фигуру, пепельные спутанные волосы, падающие на лицо мокрыми прядями, — но за ними угадывались правильные, почти кукольные черты. Высокие скулы, чуть вздёрнутый нос, губы, потрескавшиеся от жажды, но всё ещё красивые — не дешёвой, а породистой красотой, будто природа лепила её для другого мира, а не для этого.

На ней была разорванная бархатная мантия, под ней — грязная рубашка, которая не могла скрыть изящной линии ключиц, выступающих под кожей, как два полумесяца. Беренгар заметил это вопреки себе — и тут же разозлился на собственную слабость.

А потом, когда она чуть повернулась, ткань рубашки натянулась, и он увидел грудь — не пошлую, не выставленную напоказ, а угадываемую сквозь тонкую ткань: идеальной формы, полную, с правильными очертаниями, которые не могли оставить равнодушным ни одно живое существо. Это было не просто тело — это была красота, брошенная в помойку, и от этого контраста — грязь на лице и совершенство линий — у Беренгара перехватило дыхание.

Он никогда не смотрел на женщин так. Никогда. Для него они были частью пейзажа — как камни, как деревья. Но сейчас что-то щёлкнуло у него внутри, где-то глубоко, в том месте, которое он считал мёртвым.

Грудь сдавило. В ушах зашумело. Он вдруг понял, что не хочет её смерти. Впервые за всю свою жизнь он не хотел выполнять приказ.

Палач в чёрном капюшоне — лица не разглядеть, только руки в грубых рукавицах — поднял топор. Его фигура была безликой, как у всех палачей Порядка: никаких примет, никаких имён. Только инструмент.

Девушка вздрогнула от звука — металл свистнул в воздухе, рассекая тишину, — но не закричала. Она сжала пальцы

в кулаки так, что побелели костяшки, и закрыла глаза.

— Да свершится правосудие! — провозгласил судья — старик в чёрной мантии, с лицом, похожим на сморщенный пергамент.

И тогда в толпе кто-то выкрикнул:

— Она не виновата! Её силой заставили! Сами же её и выбрали!

Беренгар повернул голову. Кричала старая женщина — нищенка в лохмотьях, с лицом, изъеденным оспой, и одной рукой — вторая заканчивалась культёй, завёрнутой в грязную тряпку. Её тут же схватили стражники — двое верзил в кожаных куртках, с дубинами на поясах, — но остальные загудели, зашептались. Кто-то поддержал, кто-то призвал молчать, кто-то бросил в сторону эшафота гнилое яйцо — оно разбилось о деревянные ступени, и запах серы смешался с запахом крови и пота.

— Молчать! — взревел герольд, размахивая жезлом. — Молчать! Именем короля!

Девушка на эшафоте подняла голову. Взглянула в толпу, нашла глазами ту, что кричала — и едва заметно покачала головой. Не надо. Не нужно. Всё уже кончено. Не спасайте меня — спасите себя.

Нищенка замолчала, но не отвела взгляд. Смотрела на Эленор с такой болью, с такой любовью, будто это была её собственная дочь. Беренгар заметил это, но не придал значения — в толпе много такого, что не имеет значения.

Палач плюнул на руки — звонко, смачно — и взялся за топор обеими руками. Подошёл к девушке, поставил её на колени так, чтобы шея лежала на плахе — деревянной колоде, вымазанной чужой кровью, с выемкой для шеи, в которой уже столько раз лежали человеческие головы, что дерево пропиталось салом и почернело, как уголь.

Девушка не сопротивлялась. Она легла на колоду, положила голову в выемку, сложила руки на груди — как для молитвы. Глаза её были открыты, и в них не было страха. Только тоска. Бесконечная, глубокая тоска по жизни, которую она не успела прожить.

И тут Беренгар увидел её лицо в последний раз.

Она смотрела прямо на него — на городского пса в чёрном плаще, на человека, которого никогда не видела и имя которого не узнает. В её глазах не было страха. Не было ненависти. Не было мольбы. Было что-то другое — то, что он не мог назвать. Словно она его узнала. Словно они были связаны нитью, которую ни он, ни она не выбирали. Словно она хотела сказать ему что-то важное — то, что он должен был услышать, но никогда не услышит.

— Да свершится правосудие, — повторил судья.

Палач поднял топор.

В толпе кто-то закричал — женский голос, оборвавшийся на полуслове.

Топор упал.

Но удар был не таким, как все ожидали.

Лезвие не отсекло голову с одного удара — чисто, звонко, как это бывает в сказаниях и на ярмарочных картинках. Оно вошло в шею глубоко — почти до самого позвонка, — и Беренгар слышал хруст. Такой громкий, такой отчётливый, что, казалось, его слышали все на площади. Хруст костей — как звук переламываемой сырой морковки, только глубже, тяжелее, страшнее.

Кровь хлынула не сразу. Сначала выступила тонкая красная полоска — тоненькая, как нитка, — которая побежала по белой коже шеи, огибая плаху, стекая на деревянный настил. Потом, когда топор застрял и палач дёрнул его, пытаясь вытащить, кровь фонтаном ударила вверх — горячая, густая, тёмная, почти чёрная в свете угасающего дня.

Девушка дёрнулась.

Её тело выгнулось дугой — спина прогнулась, голова, всё ещё частично прикреплённая к туловищу, запрокинулась назад, — а ноги забили по деревянному настилу, издавая глухие удары, похожие на стук сердца. Пальцы рук, сложенных на груди, разжались, вцепились в плаху, заскребли по дереву, оставляя кровавые царапины.

Она издала звук — не крик, не стон, а сдавленный, булькающий хрип, похожий на то, как вода уходит в раковину. Горло было перерублено наполовину, воздух не проходил, лёгкие схватились спазмом.

Потом она замерла.

Тело обмякло — сразу, как тряпичная кукла, у которой

оборвали нитки. Голова свесилась набок под неестественным углом, залитая багровым, и из открытого рта вытекла струйка крови — тонкая, змейкой, на дерево.

— Не до конца! — крикнул кто-то из толпы, и этот крик растворился в многоголосом вое ужаса и восторга.

Палач, бледный как полотно — даже его лысая голова стала серой, — попытался выдернуть топор. Но лезвие застряло в кости — позвонок, не перерубленный до конца, держал сталь мёртвой хваткой, как бульдог, вцепившийся в ногу. Палач дёрнул ещё раз — тогда тело девушки соскользнуло с плахи и рухнуло на помост, оставляя за собой длинную кровавую полосу, похожую на след улитки.

Голова, всё ещё частично прикреплённая к туловищу лоскутом кожи и мышц, повернулась к небу. Глаза её были открыты — такие же серые, как у Беренгара, — но неподвижны. Зрачки расширились и застыли.

Судья — старик в чёрной мантии — даже не нагнулся. Он стоял в трёх шагах, безглаголиво морща нос.

— Мертва, — объявил он громко. — Приговор приведён в исполнение. Уберите.

Двое стражников подхватили тело. Беренгар заметил, как они небрежно швырнули его на телегу, стоявшую у края площади, — туда, где уже лежали другие мёртвые: синеликий повешенный, женщина с проломленным черепом, младенец в тряпках. Телега была грязной, с ободранными бортами, и пахло от неё за версту — сладковатым тленом и известью.

Стражник, тот, что потолще, сплюнул на деревянный настил:

— В канаву её, к остальным.

Телега скрипнула и покатилась к северным воротам. Кто-то из толпы перекрестился, кто-то отвернулся, кто-то уже забыл лицо казнённой, потому что завтра будет новая казнь.

Беренгар смотрел вслед телеге, пока она не скрылась за углом. Что-то в этой сцене было не так — слишком быстро увезли, слишком равнодушно. Но он отогнал мысль. Не его дело. Он — пёс. Ему приказывают — он убивает.

— Ты видел? — спросил Гурион, подъезжая на коне.

— Видел, — ответил Беренгар, не оборачиваясь. — Топор ударил плохо. Голова не отделилась.

— Не важно, — равнодушно сказал Гурион. — Приговор приведён в исполнение. Она мертва для этого мира.

Беренгар кивнул. Но в голове засела картинка: дёргающееся тело, скребущие пальцы, телега, увозящая её прочь. И странный взгляд — перед самым ударом.

— Поехали, — бросил Гурион. — Дело сделано.

Они развернули коней и двинулись к выезду с площади. Беренгар бросил последний взгляд на эшафот — тёмное пятно крови на дереве, брошенная рогожа, пустые глаза толпы. И телега, уже скрывшаяся за воротами.

Ему показалось, что он слышит слабый стон, доносящийся с той стороны, где исчезла телега. Но он не придавал этому значения. В его мире мёртвые не стонут.

ЧАСТЬ 13: ТЕНЬ

«Могла ли она выжить?» — мелькнуло на грани сознания у Беренгара.

И тут же он отбросил эту мысль — глупая, опасная, ненужная. С перерубленной шеей не живут. Даже если позвонок не перебит до конца, даже если артерия задета лишь наполовину — кровопотеря, шок, удушье... Она мертва. Она не могла выжить.

Гурион подал знак отходить. Беренгар вскочил в седло. Когда они проезжали мимо эшафота, он бросил короткий взгляд на то место, где лежало тело. Там была только рогожа — грязная, дырявая, присыпанная песком. Тела не было. Телега с трупами уже скрылась за воротами.

«Увезли, — подумал Беренгар. — В общую яму. Как собак».

Он не придал этому значения. Потому что в его мире так поступали со всеми «лишними». Потому что если бы он начал задумываться о каждом трупе, который увозили на север, он сошёл бы с ума.

Они выехали за городские стены, когда окончательно стемнело. Луна спряталась за тучами, и пустошь за воротами утонула в липкой, маслянистой тьме. Копыта лошадей глухо стучали по разбитой дороге, и Беренгару казалось, что кто-то едет следом — но, оглянувшись, он видел только пустоту.

— Ты чего? — спросил Гурион, заметив его движение.

— Ничего, — ответил Беренгар. — Просто... эта девушка. Она смотрела на меня перед ударом.

Гурион помолчал. Ветер доносил запах пустоши — полыни, сухой травы и чего-то гнилостного из далёких болот.

— Мёртвые не смотрят, — сказал он наконец. — И не возвращаются. Забудь.

Беренгар кивнул. Но забыть не смог. До самого лагеря, разбитого у старого дуба в трёх милях от города, он чувствовал спиной тот странный, пристальный взгляд — хотя знал, что сзади никого нет.

Ему не спалось в ту ночь. Он сидел у костра, глядя на огонь, и в голове крутились обрывки: пепельные волосы, серые глаза, телега, уезжающая в темноту. И тот взгляд — будто она его узнала.

«Почему она смотрела на меня? — думал он. — Мы никогда не встречались».

Ответа не было. Только угли шипели, и где-то далеко, за холмами, выла собака — тоскливо, долго, как будто чуяла смерть.

Беренгар не знал, что через час после того, как телега миновала ворота, Матильда и её люди вытащат изуродованное тело из трупной канавы. Не знал, что девушка ещё дышит — слабо, чуть слышно, но дышит. Не знал, что их пути пересекутся снова, когда он уже перестанет быть псом.

Он просто сидел у костра, сжимая в руке остывшую круж-

ку, и впервые за много лет пустота внутри него дрогнула. Не боль, не страх — а смутное, тянущее чувство, будто он потерял что-то важное, даже не поняв, что имел.

Костёр прогорел к рассвету. Беренгар затушил угли, поднялся и пошёл к лошади.

Впереди была дорога обратно в Бастион. Позади — трупная канава, полная мёртвых, и одна живая, о которой он не знал.

ГЛАВА 3: ДВЕ ДОРОГИ К ИСТИНЕ

ЧАСТЬ 1: КАЭЛ. ТИШИНА МЕЖДУ СТРОК

Беренгар никогда не знал, что у него есть брат-двойняшка. Каэл никогда не знал, что его брат жив. Но когда один ронял меч от усталости, другой в ту же ночь не мог писать — пальцы сводило судорогой.

Братство Слова — так называли себя церковные писцы. В каждом королевстве, в каждом уцелевшем городе они занимали самое высокое здание — не потому, что любили высоту, а потому, что книги боялись сырости, а люди — книг. В Грэдоне, столице Северного Предела, их цитадель вздымалась над крышами, сложенная из древнего серого камня, который не брала ни ржавчина времени, ни копоть костров. Внутри не было золота, не было оружия. Только ряды полок, уходящие вверх до темноты, и бесконечные свитки — мёртвые или живые, никто не знал наверняка.

Каэл, худой веснушчатый парнишка с вечно испачканными чернилами пальцами, попал сюда в десять лет.

Он — родной брат пса Беренгара, второй сын гончара из Реграда, оставшийся в люльке после того, как адская колесница забрала брата-двойняшку — был изъят церковью из семьи по особому распоряжению. Старейшины Реграда не смогли объяснить почему. Просто в один из дней прискакал гонец из Грэдона в чёрном балахоне, ткнул обугленным перстом в черноволосого мальчика, пасущего овец на южном склоне, и сказал:

— Его бабка нарушила Порядок. Вмешалась в жребий. Отныне мальчик — долг церкви.

Каэл не знал, что бабка Мара подняла бирку с его именем и спрятала её за печную трубу, а вместо этого положила в мешок старую тряпку с запёкшейся кровью. Не знал, что её саму увезли той же колесницей через неделю — молчаливую, сгорбленную, не оказавшую сопротивления, только старые глаза её были сухи и спокойны, как у человека, который принял смерть много лет назад и теперь просто доживает.

Он просто запомнил крик матери — высокий, режущий, похожий на крик чайки, у которой отнимают птенца. Запомнил, как мать бежала за телегой, спотыкалась, падала, вставала, пока её не оттеснили соседи. И холодный взгляд писца, который вёл его за руку прочь из деревни, навсегда — сухой, как пергамент, безжалостный, как приговор.

Но он запомнил и другое. Свои собственные руки — маленькие, перепачканные глиной, — которые он зажал у рта, чтобы не заплакать. Мать стояла на коленях в грязи, её лицо

было мокрым от слёз и дождя, и Каэл знал: если он сейчас закричит, она упадёт туда, откуда не встать. Он сжал зубы так, что дёсны заболели, и смотрел, как телега с братом исчезает в тумане, не издав ни звука. Внутри него, там, где живёт голос, что-то оборвалось — но не от боли, от выбора. Он выбрал молчание, чтобы мать могла плакать без стыда.

— Не оглядывайся, — сказал писец. — Их больше нет.

В Грэдоне ему дали тряпку и ведро.

— Будешь мыть полы, — сказал старший писец, сухой старик с красными веками, похожий на вылинявшую ящерицу. — За полку с хрониками не лезь. За свитки с пророчествами — тем более. Будешь послушен — не сгниешь в подвале, где киснет кожа для переплётков. Там, говорят, крысы размером с кошку.

Каэл не умел читать — в Реграде, да и в любом другом поселении Порядка, это умение считалось опасным, почти еретическим. Грамотами владели только писцы, священники и рыцари. Для остальных буквы были магией, а свитки —местилищем демонов. И всё же, протирая пыль с корешков, мальчик заметил, что одни книги собраны в кожаные переплётыв с золотым тиснением и стоят на видных местах, а другие перевязаны чёрными лентами, словно их боялись открывать, и спрятаны в дальних углах, за решётками.

— Что там? — спросил он однажды у писца-наставника, мужчины лет тридцати с измождённым лицом и глубокими тенями под глазами, которого звали Северин.

Северин вздрогнул, оглянулся на дверь и прошептал так тихо, что Каэл едва расслышал:

— Там — правда. Та, что убивает. Не спрашивай больше, мальчик. Не спрашивай, если дорожишь языком.

Каэл не стал спрашивать. Но он запомнил полку. И взгляд Северина — в нём был страх, но в этом страхе, как червь в гнилом яблоке, копошилось что-то ещё. Любопытство. Или тоска.

Вскоре его определили в писцы — низшая ступень, те, кто переписывает старые рукописи, не понимая ни слова. Каэлу дали тряпку, чернильницу из бычьего рога, три гусиных пера и стопку выцветших пергаментов, со словами:

— Перерисовывай букву за буквой. Смысл тебе не нужен. Твоя работа — сохранять форму, а не содержание. Кто прочитает — тот ответит перед церковью. Но читать тебе нечем — языка не знаешь. Так что работай и молись.

Первые три года он послушно копировал строки, не зная, что они означают. Сидел на деревянной скамье с утра до вечера, пока спина не начинала гудеть, а пальцы — сводить судорогой. Глаза слезились от тусклого света единственной масляной лампы, которая коптила так, что через час лицо становилось чёрным от сажи. Но пыль, запах кожи и пергамента — сладковатый, с ноткой тлена — тихий шелест страниц, когда их переворачивали, и скрип гусиного пера по шероховатой поверхности — всё это будило в нём жадное, почти животное любопытство.

Он начал замечать, что одни и те же знаки повторяются. Что есть короткие последовательности, которые встречаются часто, и длинные — редко. Что расположение букв подчиняется невидимым правилам, как узоры на ковре. Однажды, оставшись один в скриптории после заката, он взял одну из свежих копий и исходный свиток. Сравнил. Кое-где буквы не совпадали — писец до него ошибался, переписывая незнакомый язык, принимая одну похожую букву за другую.

Каэл провёл пальцем по древним знакам. Что они говорят? Почему церковь так боится, что кто-то их прочитает?

Он начал учиться тайно.

Ночью, когда другие спали на жёстких койках в общей спальне, Каэл крал огарок свечи из-под образа и спускался в дальний угол подвала. Там, между штабелями бракованных переплётów и корзинами с мусором, где пахло плесенью и мышиным помётом, он вырезал в стене нишу. В нише лежали три сокровища: один свиток на древнем языке, второй — обрывок церковного перевода, и третий — самодельный словарь, составленный неизвестным писцом много лет назад.

Каэл складывал букву за буквой, как камешки в мозаике. Слово за словом, как бусины на нитку. Ночь за ночью.

Первый год ушёл на то, чтобы понять: древний язык имеет свои правила, отличные от церковного наречия. В нём не было некоторых букв, но были другие — с хвостиками, закорючками, точками сверху. Второй год — чтобы запомнить хотя бы сотню слов. Третий — чтобы научиться читать без

запинки, хотя многие фразы оставались тёмными, как вода в омуте.

Он делал это медленно, осторожно, как сапёр, пробирающийся через минное поле. Потому что если бы его поймали — язык вырвали бы не задумываясь. Или сожгли бы живём, как тех двоих писцов, которых вывели на площадь в прошлом году. Каэл стоял тогда в толпе и смотрел, как они горят — молча, потому что языки у них были вырезаны заранее. Дым был сладковатым и тошнотворным.

— Господь принимает только чистые души, — сказал тогда епископ. — А чистая душа — та, что не знает греха знания.

Каэл запомнил запах. И продолжал читать по ночам. Потому что теперь он уже не мог остановиться. Правда стала для него наркотиком — горьким, опасным, но без неё жизнь превращалась в пустую, бессмысленную перерисовку чужих ошибок.

Глубокой осенью, когда ливни размыли дороги и никто не приходил в библиотеку по несколько дней, Каэл получил очередную рукопись для переписи — толстую, в кожаном переплёте с потускневшими металлическими уголками. На первой странице было выведено каллиграфическим почерком, красными чернилами: «Хроники Эпохи Заката».

Он оглянулся — никого. Только тени от догорающих свечей плясали на стенах, да где-то далеко, в другой части здания, слышался монотонный голос брата-чтеца, читающего

вслух псалмы. Каэл развернул свиток. Древняя бумага была жёлтой, хрупкой, местами тронутой плесенью — её переписывали несколько раз, но оригинал всё ещё хранил следы пальцев тех, кто жил до Порядка.

Текст был написан одним из «древних» — так в церковных книгах называли людей, живших до Катастрофы. Церковь учила, что древние были грешниками, погрязшими в гордыне, блуде и поклонении ложным кумирам, и Бог стёр их с лица земли огнём и серой. Но здесь говорилось иначе.

Каэл читал, и пальцы его дрожали так сильно, что буквы плыли перед глазами.

«Мы строили города до самого неба. Наши здания были из стекла и стали, они вздымались на сотню этажей, пронзая облака. Мы могли говорить с человеком на другом конце мира, видя его лицо на светящемся экране. Мы могли летать на железных птицах быстрее звука. Мы даже ступали на Луну — на ту самую Луну, что висит над вашими головами каждую ночь».

Каэл поднял глаза к маленькому зарешёченному окну. Луна была бледной, почти прозрачной, с тёмными пятнами. Он смотрел на неё, и в голове кружилось: туда можно было добраться? Люди были там? Он перечитал ещё раз, водя пальцем по строкам:

«Но чем больше становилось нас, тем теснее становился мир. Шесть миллиардов, потом семь, потом девять. Еды хватало — мы научились выращивать её в теплицах и даже в

пробирках, — но не хватало земли. Каждый человек оставлял след. Каждому нужно было место под солнцем. И тогда пришёл Он».

Дальше следовало имя, которое Каэл не мог прочесть — оно было написано на чужом языке, не похожем ни на церковный, ни на древний, который он учил. Круглые значки, похожие на вензеля, и острые, как иглы. Но ниже шло пояснение, сделанное более поздним переводчиком:

«Архитектор...» — и дальше следовало несколько строк, залитых чернилами. Кто-то — возможно, цензор — старательно замазал их, но под слоем краски можно было разобрать отдельные слова: «очистка», «лимит», «жертвоприношение».

Каэл отложил свиток и уставился в тёмный угол. Руки его тряслись, сердце колотилось где-то в горле.

В ту ночь он не спал.

Он сидел на своей койке, обхватив колени руками, и смотрел в маленькое окно на луну — бледную, спокойную, равнодушную. Он думал о матери, которую больше никогда не увидит. О брате-двойняшке, которого увезли в железной клетке. О бабке Маре, которая, наверное, давно сгнила в неизвестной могиле. И о мире, который, возможно, был устроен совсем не так, как его учили.

С этого дня он перестал быть просто писцом. Он стал охотником за правдой — и каждой ночью выкрадывал запретные тексты, переписывал их в свою маленькую тетрадь,

учил древние языки, чтобы понимать больше. Он знал, что за это его могут сжечь на костре. Но он не мог остановиться.

Потому что, как сказал когда-то Северин, правда убивает. Но ложь делает хуже — она заставляет жить, не понимая зачем.

ЧАСТЬ 2: БЕРЕНГАР. БУНКЕР

Через месяц после возвращения из Валии Беренгара вызвал к себе Корвин.

Корвин был вторым рыцарем — жестоким, быстрым на расправу и, как шептались псы, совершенно безумным. В отличие от Гуриона, который никогда не снимал доспехов, но иногда показывал лицо, Корвин не снимал шлема вообще. Говорили, под ним не было лица — только кожа, стянутая шрамами, или вообще ничего, пустота, и лишь два холодных огонька вместо глаз.

Они встретились в караульной комнате южной башни — низком помещении с закопчённым потолком и стенами, на которых висели карты неизведанных земель и портреты рыцарей, павших при исполнении. Корвин сидел за дубовым столом, заваленным свитками, и не поднял головы, когда Беренгар вошёл.

— Пёс, — сказал Корвин без приветствия. Голос его был металлическим, как будто говорил не человек, а пустая кира. — Новое дело. Лазутчики донесли.

Он развернул карту — грубый набросок на телячьей коже. Беренгар увидел северные земли, Лунные пустоши (на карте они были обозначены чёрным, с пометкой «не заселено»), а на границе пустошей и лесов — маленький значок, похожий на перевёрнутую подкову.

— К северу от Бастиона, в старых штольнях, люди оборудовали убежище. Бункер «Древних». Два года назад туда ушли беглые — те, кому угрожала чистка, отщепенцы, еретики. — Корвин поднял голову, и в прорези забрала Беренгар увидел два жёлтых, как у зверя, глаза. — Они там живут. И размножаются.

— Размножаются? — переспросил пёс. Внутри что-то ёкнуло — не страх, а предчувствие. Он уже знал, что сейчас услышит.

— У них родилось за год тридцать детей. Тридцать! — Корвин ударил кулаком по столу, и свитки подпрыгнули. — Сверх лимита, конечно. Они скрывают это от переписи. Живут внизу, как кроты. Церковь приказала: зачистить.

— Всех?

— Всех. Детей тоже. — Корвин скрестил руки на груди. — Или ты забыл правило, пёс? Лимит душ — это закон. Лишние должны умереть, чтобы работал Порядок. Не будет исключений. Иначе все захотят плодиться без спросу.

Беренгар помолчал. В голове пронеслось: тридцать детей. Они даже не знают, что их уже приговорили. Они просто родились — и стали врагами.

— Почему нельзя просто расселить их? — спросил он. Голос его звучал ровно, но внутри поднималась знакомая тяжесть, похожая на ту, что была перед первым убийством.

Корвин усмехнулся — коротко, сухо, как лязг засова.

— Потому что если один грешник Порядка выживет, за-

хотят и другие. А если все начнут прятаться по норам и плодиться, как кролики, то... — И умолк.

Беренгар хотел возразить — впервые в жизни. Хотел сказать, что дети не выбирают, где родиться. Что если бы Порядок был справедлив, он не убивал бы младенцев. Но язык прилип к нёбу, потому что где-то глубоко, в той самой пустоте, которая была его спутницей с детства, шевельнулся страх.

Не страх смерти. Страх правды...

Подземное убежище находилось в трёх днях пути. Беренгар возглавил отряд из двенадцати «младших» псов — проверенных, молчаливых убийц, таких же, как он сам. Никто из них не знал, зачем они идут. Им сказали: «Враги Порядка». Этого было достаточно. Врагов Порядка не жалели.

Дорога была тяжёлой. Лунные пустоши встретили их серым, выжженным пространством, где не росло ничего, кроме колючей травы, которая царапала ноги даже сквозь сапоги. Ветер дул с востока, холодный, пахнувший гнилью и чем-то металлическим. Небо было низким, свинцовым, оно давило на головы, вызывая тупую боль в затылке. К ночи температура падала так резко, что у одного из псов потрескалась кожа на губах, и он шёл, прижимая к лицу тряпку, пропитанную мочой, чтобы согреться.

На второй день они наткнулись на остов сгоревшей деревни — десяток чёрных брёвен, торчащих из пепла, и колодец, забитый камнями. Ни имён, ни табличек. Беренгар узнал этот почерк — зачистка. Лимит превышен, всё сожже-

но, все убиты. Он пересёк пепелище, не останавливаясь.

На третий день, когда солнце уже клонилось к закату, лазутчик указал на землю.

— Там, — сказал костлявый мужик с красными глазами, который провёл в пустошах три недели, выслеживая убежище. — Вход вон под тем холмом.

Беренгар замер. Это была не пещера и не природный грот. Из земли торчали массивные железные двери — герметичные, с остатками зелёной краски, которая пузырилась и слезала хлопьями. Двери были полукруглыми сверху, как вход в гигантскую печь, и такими толстыми, что, казалось, их не пробить даже тараном. Над одной из дверей сохранилась табличка — ржавая, с выбитыми буквами, которые Беренгар не мог разобрать.

«Убежище №7. Всесоюзная система гражданской обороны. Вход строго по пропускам».

Он почувствовал, что стоит перед чем-то древним — сделанным теми, кто умел строить дома до неба и летать на железных птицах. От дверей веяло холодом, но не тем, который бывает от камня или металла, а каким-то другим — внутренним, вековым, будто сама сталь помнила времена, когда мир был другим.

— Внутри, — шепнул лазутчик, кивнул на приоткрытую створку. Из щели тянуло теплом и запахом жареного мяса — свежего, только что с вертела. — Сейчас их около сотни. Женщины, дети, старики. Есть оружие, но примитивное —

ножи, топоры. Бойни не будет.

— Почему ты так думаешь? — спросил Беренгар.

— Потому что они не воины. — Тот сплюнул. — Они просто люди, которые хотели жить.

Беренгар кивнул и вытащил меч.

— Входим...

Бункер оказался огромным.

Беренгар шагнул внутрь — и на секунду потерял ориентацию. Длинные бетонные коридоры уходили вперёд и в стороны, образуя лабиринт, который не поддавался логике. Стены были серыми, гладкими, холодными на ощупь, с ржавыми трубами под потолком и толстыми кабелями, которые свисали, как мёртвые змеи. Пол — бетонный, с выщерблинами и трещинами. Кое-где валялись куски какой-то рассыпавшейся ткани, похожей на паутину, и осколки стекла.

Света не было — только факелы, которые несли псы. Тени прыгали по стенам, создавая причудливые фигуры, и Беренгару казалось, что за каждым поворотом кто-то стоит. Воздух был тяжёлым, спрессованным, пахло пылью, ржавчиной и кисловатым запахом человеческого жилья — дымом, потом, кислой капустой.

Ответвления в стороны вели в комнаты, где когда-то, возможно, спасались от бедствий сотни людей. Теперь здесь жили новые обитатели: самодельные кровати из досок и ящиков, очаги, сложенные из кирпичей, полки с глиняными горшками и деревянными ложками. На стенах — детские ри-

сунки углём: солнце, дом, деревья. И цветы — много цветов, которых никогда не было в пустошах.

Первыми псов заметили дети.

Девочка лет шести, игравшая у входа в одну из комнат, подняла голову, увидела чёрные плащи, горящие факелы, блеск мечей — и закричала. Крик был высоким, режущим, как нож, он эхом разнёсся по бетонным коридорам, отражаясь от стен, умножаясь, превращаясь в многоголосый вой.

И тут же из дальних комнат выбежали мужчины — с ножами, с топорами, с самодельными копьями. Пять, десять, двадцать. Их лица были напряжёнными, но не испуганными — скорее, смирившимися. Как у людей, которые знали, что этот день настанет, и просто ждали.

— Стоять! — крикнул главный пёс, поднимая руку. — Бросайте оружие, и мы пощадим женщин и детей!

Никто не бросил.

— Стоять! — повторил он, но было поздно.

Псы, обученные не задавать вопросов, уже начали.

Рубка в тесном коридоре была грязной, быстрой и страшной. Мечи псов рубили плоть — без замаха, без подготовки, просто короткие, эффективные удары, которым их учили много лет. Кровь брызгала на стены, на потолок, на лица. Крики смешивались с хрустом ломающихся костей и лязгом металла.

Беренгар убил двоих — мужчину с татуировкой на лице и молодого парня, который даже не успел поднять руку. Пар-

ню было лет семнадцать, не больше. Глаза у него были серые, как у самого Беренгара, и в них, когда клинок вошёл в живот, не было ненависти. Только удивление. Огромное, детское удивление: «За что?»

— Не щадить! — орал кто-то из псов. — Они нарушили Порядок! Они вне лимита! Смерть врагам!

Но Беренгар вдруг остановился.

Посреди коридора, прижавшись к стене, стояла женщина с младенцем на руках. Младенец был крошечным, завёрнутым в полосатую тряпку, и сосал палец, не понимая, что происходит вокруг. Женщина была молодой — лет двадцати, с тёмными волосами, собранными в узел на затылке. Она не кричала, не звала на помощь, не плакала. Просто смотрела на Беренгара — прямо в глаза. В её взгляде не было страха. Была усталость. Бесконечная, всеобъемлющая усталость матерей, которые видели слишком много смертей.

«Ей некуда бежать, — понял пёс. — За ней бетонная стена. Слева и справа — коридоры, заполненные псами. Она и ребёнок — всё, что осталось от этой семьи. Или от этой жизни».

Рядом пробежал пёс по кличке Рваный — здоровенный детина с перебитым носом и шрамом через всю щеку. Он занёс меч для удара.

— Не трогай! — рявкнул Беренгар так, что Рваный споткнулся и чуть не упал.

— Чего? — переспросил он, обернувшись. Глаза его бы-

ли злые, с красными прожилками — в них горел тот самый огонь, которого не было у Беренгара.

— Я сказал — не трогай. Уведи её. Она будет допрошена.

— Да она «лишняя»! — возразил Рваный, сплюнув на пол. — И ребёнок этот — тоже лишний. Чего их допрашивать? Порядок сказал — всех!

— Ты слышал приказ, пёс. — Голос Беренгара был тихим, но в нём было столько холода, что Рваный невольно отступил на шаг.

— Слышал, — буркнул он, пряча меч в ножны.

Они смотрели друг на друга несколько секунд. Рваный был вдвое крупнее, но в глазах Беренгара было что-то такое, что заставляло даже безумцев отступать. Пустота. Абсолютная, ледяная пустота, в которой не было ни страха, ни жалости, ни колебаний. Только приказ.

— Делай что хочешь, — бросил Рваный и пошёл дальше по коридору, где ещё слышались крики.

Беренгар подошёл к женщине. Взял её за руку — она была холодной и дрожала, но не вырывалась. Только сильнее прижала младенца к груди.

— Где главный зал? — спросил он, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Где ваши старейшины? Где архив?

— В конце, — прошептала она. — В самой дальней комнате. Там... там всё. Книги. Записи. То, что они оставили.

— Кто — они?

— Древние. — Она посмотрела на него. — Вы же знаете.

Вы пришли не за нами. Вы пришли за «этим».

Беренгар не ответил. Он подозвал одного из псов — молодого, с ещё не замыленным взглядом, которому можно было доверять.

— Отведи её к выходу. И ни один волос с головы не упадёт. Понял?

— Понял, вожак, — кивнул пёс и повёл женщину прочь.

Беренгар вытер меч о штаны и пошёл вперёд — туда, где, по словам женщины, был архив.

Он нашёл эту комнату в самом конце бункера.

Она оказалась просторнее всех остальных — когда-то здесь, наверное, был диспетчерский пункт или командный центр. Стены были увешаны плакатами и картами, но краска выцвела, бумага облупилась, и только кое-где можно было разобрать изображения. Пол — бетонный, с ржавыми люками. Потолок — высокий, с рядами погасших светильников, похожих на выпотрошенные глаза.

В центре комнаты стоял длинный стол из пластика — Беренгар никогда не видел такого материала: гладкого, холодного, цвета слоновой кости. На столе лежала раскрытая тетрадь — дневник последнего старейшины бункера.

Но сначала его взгляд упал на плакаты.

На одном была нарисована земля — шар, висящий в черноте. Синий, зелёный, белый. С него на смотрящего глядели пятна материков, похожие на куски мозаики. Вокруг шара — маленькие металлические точки с надписями: «спутник»,

«станция», «орбита». Беренгар не понял ни слова, но почувствовал, как кровь отливает от лица. Значит, правда... земля — это шар? Они это знали? Они видели её со стороны?

На втором плакате была схема бункера — трёхмерный чертёж, рассчитанный на пятьсот человек. Беренгар с удивлением понял, что видел только малую часть — дальше в глубину уходили ещё несколько ярусов, заваленных обломками, куда никто не рискнул сунуться.

На третьем плакате была фотография города. Не рисунок, не выдумка — настоящая, с деталями, которые невозможно придумать. Дома выше любых башен, какие он видел в Бастионе — стеклянные, сияющие, с острыми шпилями, уходящими в облака. Улицы, залитые светом — жёлтым, белым, синим. И машины, парящие в воздухе — без крыльев, без колёс, просто висящие между домами, как рыбы в аквариуме. Внизу, съеденная временем подпись: «... год. Проспект Мира».

Беренгар провёл пальцем по гладкой бумаге. Она была холодной, как сталь, и такой же гладкой — не как пергамент, не как кожа, а как поверхность пруда, затянутая льдом.

Значит, правда была... потрясающей и чудовищной. Люди жили в небесных домах. Умели летать. Видели землю со стороны. А потом... А что потом?

Он перевёл взгляд на дневник — раскрытый на последней странице.

Почерк был торопливым, неровным — человек писал, не

разгибая спины, может быть, под звуки шагов за дверью. Но язык дневника оказался простым, почти разговорным — не тем церковным наречием, которым писались указы и хроники. Беренгар не умел читать, но здесь, на грязных страницах, слова были короткими, знакомыми, как ругань в казарме. А рядом с текстом кто-то нарисовал углём маленькие картинки: сгорбленные фигурки людей, колесницу с крестом, детскую люльку.

Беренгар всматривался в корявые буквы, напрягая зрение, складывая их в обрывки фраз. «Лазутчики... рыцари... придут...», «не хотим убивать... хотим жить...», «мы люди... не скотина...» — эти слова он понял.

Те, что были сложнее, ускользали, но общий смысл проступал, как рисунок на сырой глине:

Они знают о нас. Лазутчики донесли: рыцари Бастиона собирают отряд. Скоро придут. Мы не хотим убивать друг друга, не хотим нарушать Порядок — мы просто хотим жить. Растить детей. Учить их читать и писать. Но, видимо, это слишком много для тех, кто наверху.

Мы не будем сражаться — у нас нет оружия. Мы не будем прятаться — некуда. Мы просто встанем у входа и посмотрим им в глаза. Пусть знают: мы люди. Мы не скотина. Мы не «лишние». Мы — те, кто помнит.

Если кто-то найдёт этот дневник после нас: берегите правду. Она — единственное, что у нас

осталось. И когда-нибудь... когда-нибудь найдётся тот, кто сможет ею воспользоваться.

Беренгар не разобрал каждого слова — где-то догадался по рисункам, где-то сложил из узнанных корней. Но главное он уловил: эти люди не были врагами. Они просто хотели жить. Так же, как когда-то хотели жить он сам и старик Мейнард в железной клетке.

Пёс вырвал страницу — не всю, только последнюю — и спрятал за пазуху, рядом с сердцем. Не потому, что хотел сохранить. А потому, что не мог оставить её здесь, в этом бункере, который скоро станет могилой.

Из коридора донеслись последние крики — зачистка подходила к концу. Рваный, перешагивая через тела, нёс ворох детской одежды — трофей, наверное.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.